ВИНОВАТЫЕ И ПРАВЫЕ

Рассказы судебного следователя

К. ПОПОВ

НОВАЯ ШЕРЛОКИАНА

VIII

Salamandra P.V.V.

К. Попов

ВИНОВАТЫЕ И ПРАВЫЕ

Рассказы судебного следователя

Salamandra P.V.V.

Попов К.

Виноватые и правые: Рассказы судебного следователя. Прим. А. Шермана. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2013. – 160 с. – (Новая шерлокиана, Вып. VIII).

Забытая книга К. Попова «Виноватые и правые», увидевшая свет в 1871 г., возвращает читателя к истокам русского детектива и новому в ту пору жанру – повествованию о следствии.

Рассказы о работе одного из первых судебных следователей на севере Российской империи отличаются живостью изложения и знанием народного быта и нравов, отмечены печатью бесспорного литературного дарования.

Книга переиздается впервые почти за 150 лет.

© Salamandra P.V.V., оформление, примечания, 2013

ВИНОВАТЫЕ И ПРАВЫЕ.

РАЗСКАЗЫ

СУДЕБНАГО СЛѢДОВАТЕЛЯ.

Соч. К. Попова.

МОСКВА.
Типография А. В. Мамонтова и К°. Большая Дмитровка. № 7.
1871.

ВИНОВАТЫЕ И ПРАВЫЕ

I.

КОНЧИНА ГРЕШНИЦЫ

– Вот и в Низовье прикатили, ваше высокоблагородие, – объявил мне ямщик, отдергивая занавеску моей рогожной кибитки.

– Хорошо! А огонь на станции есть? – отозвался я.

– А вон уж Михайло с теплиной* на крыльце вас дожидается.

– Ну, так выносись.

– Ладно, хорошо, ваше высокоблагородие.

– Здравствуй, Михайло Трофимович! – обратился я к светившему мне содержателю Низовской обывательской станции.

– Добро пожаловать, ваше выс-ие!

– Каково живется-можется?

– А все ровнако, ваше выс-ие: одной рукой запрягаю, другой – выпрягаю; известна уж наша ямщичья должность. Михайло Градов на ко́злах родился, у ко́зел и умрет. Пожалуйте, ваше выс-ие, – продолжал он, отворяя мне дверь в комнату для проезжающих. – Уж не взыщите... в шомныше-то** не обиходно; старуха-то с дочушкой вечеровать уползла, так...

– А что, не много еще времени? – спросил я.

– Да, не надо быть много-то, – ответил Градов: только, только что перед вами огни вздули.... дни-то ноне короткие... С часами-то у меня какая-то притча, – не ходят! Сулился отец дьякон наладить, да все не удосужится. А часов шесть, надо быть, будет. Да не сбегать ли в приказ, али на почтовую? Там дородно ходят.

– Нет, не нужно.

---

* Горящая лучина (*Здесь и далее прим. авт.).*

** Чистая комната при избе.

– А, поди, самоварчик про вашу милость прикажете поставить?

– Да; не мешало бы.

Градов взял с лежанки самовар и вышел из комнаты.

Ввалился ямщик с моим багажом.

– Вот, ваше выс-ие, постеля, вот подушка, вот одеяло шубное, вот чеботан, вот погребец; порфель, кажись, вы сами вынесли?.. Больше никак ничего нет?

– Все. Спасибо, брат!

Затем, как водится, ямщик попросил на водку. – Вместе с гривенником я дал ему поручение отыскать и позвать ко мне десятского, а сам, в ожидании самовара и десятского, занялся рассматриваньем висевших по стенам комнаты картин, до которых содержатели всех, по крайней мере, мне известных, обывательских станций большие охотники. На одной из них изображен Петр Великий: на коне, в шлеме с перьями, в латах и с зрительною трубой в руке. На другой – Паскевич-Эриванский шпагою указывает неприятеля, который, как будто, находится за плечами зрителя, а между тем войска маршируют в противоположную сторону. На третьей – на вершине обрывистой горы стоит атлетического сложения огромный мужик, с поднятым вверх страшным кулачищем, и тузит Англичан и Французов – маленьких, уродливых; те летят с горы, как мухи, а из глубины картины неприятельский генерал в треуголке наблюдает эту битву в зрительную трубу. – На четвертой картине кипит сражение с Турками: все Турки подняли вверх руки и сами собой падают назад, а казаки бьют их, кто чем попало, шашками, пиками и т. д.

Далеко еще не дошел я до конца картин, как Градов явился с самоваром.

– Вот как обывательские-то, ваше выс-ие, кипят! – заметил он.

– Да, действительно, скоро.

– Посуду-то, ваше выс-ие, поди, свою употреблять станете?

– А пожалуй, – сказал я, отпирая погребец; – только я ведь старовер: для себя ты свою приноси.

– Благодарим покорно, ваше выс-ие, про свое-то рыло найдем.

Градов сходил за чашкой себе, а я тою порой сделал чай и налил.

– Со свиданием, ваше выс-ие, – сказал Градов, принимаясь за чай.

– Кушай на здоровье.

– Кушайте сами-то, ваше выс-дие, – проговорил он, ожигаясь.

После небольшой паузы, Градов обратился ко мне с вопросом:

– Видно, по Матюгину делу приехали, ваше выс-ие!

– Да, по краже... у Матвея Негодяева.

– Так. А ловко его охолостили крещеные, ваше в-дие!

– Да... А что это десятского долго нет?

– Сряжается, поди, ваше в-дие. Баба, ведь, ноне у нас десятником-то стоит.

– Да зачем вы баб от десятничества не освобождаете?

– Нельзя, ваше в-дие, на две души пашет. Да вы не сомневайтесь, эта лучше иного мужика отстоит... Что это старухи долго нет? Уж весть-то про ваше в-дие, поди, дошла. – Все девчушка-то просится вечеровать... Ваша-то невеста. У нее ведь всякий барин, ваше в-дие, жених; а вас больше всех любит. Смеемся мы этта над ней: гляди ты, говорим, он рыжий какой! – Нет, говорит, белый. – Рожа-то, говорим, какая страшная, ровно у лешего! – Нет, говорит, он мне сладкого дает, беленькую денежку дал, а лешак-от не дал. Такая заглумная*, право! Будет живуча, так вор-девка выростит. А я все про Матюгу-то думаю, ваше в-дие: вот, думаю, копил, копил мужик, пас, пас, а про кого припас? А вон и десятник готов, ваше в-дие.

В комнату вошла женщина средних лет.

– Арсютка прибегал, – начала она, помолившись сперва на иконы, а потом низко поклонившись мне и не столь низ-

* Замысловатая, забавная. Это слово употребляется исключительно, когда говорят о детях.

ко Градову, – следователь, говорит, тебя зовет, его благородие...

– Не благородие, глупая, а высокоблагородие; у него писарь благородие-то, заметил Градов.

– Не обессудьте, ваше благородие, тьфу ты... Большое благородие...

– Опять большое! Высокоблагородие! – вмешался Градов.

– Ну, высокое благородие; наше бабье дело, – так...

– Не баба ты, – опять заметил Градов, – коли десятник!

– Да как же, Михайло Трофимович: хошь прозвище-то ноне и не бабье у меня, да ведь уж не во всем же я мужиком стала. Отойдет моя неделя, так опять бабой обернусь, – сказал десятский, скромно улыбаясь.

– Ну, матушка, – обратился я к ней, – хотя и не хотелось бы мне посылать тебя в такую пору, да что делать, нужно!

– Что делать, ваше... высокое... благородие? Мы от начальства не прочь. Такое уж наше дело... Мне, как-то, все по ночам приходится: в ту там неделю тоже о эку пору становой подъехал.

– Ну, что делать! Прежде всего ты достань мне сотского.

– Ой, да ведь никак он в приказ прошел с Виктором Ивановичем, с казначеем.

– Ну, так иди скорей, не опусти; да, если нет в приказе других старшин, так позови и казначея.

– Тотчас сбегаю, в. в. Уж эту-то ночку я отслужу тебе, кормилец; а завтра-то, тако милость будет, не уволишь ли? Дома то мал-мала меньше.

– Хорошо, только иди, не зевай.

– Духом сбегаю, в. в.

Десятский ушел. Вместо него явилась Градова с дочерью.

– Здравствуйте, кормилец, в. в! – Кланяйся дядюшке, – сказала она дочери.

– Здравствуй, матушка. –Иди-ко ко мне, невеста!

– Не обессудьте, кормилец в. в., больно уж у меня необиходно: ишь ты, старый охлупень, и стола-то не накрыл и шомныша-то не выпахана![*]

[*] Выпахать – вымести.

– Ничего, матушка!

Той порой невеста моя поместилась рядом со мной.

– Что, ты любишь меня? – спросил я.

– Юбью.

– Да ведь я рыжий?

– Беий.

– Похож я на лешего?

– Нет.

– Отчего?

– Ти биеньку денезку дав.

– Умница! Вот тебе сахару за это.

– Кланяйся же барину, – сказала Градова.

Девочка кивнула головой.

Явились сотский с Виктором Ивановичем.

– А что, Виктор Иванович, ты можешь находиться у меня депутатом?

– Как прикажете, только можно ли мне? Если по негодяевскому делу приехали, так подсудимым-то я по своим буду... все наша Негодяевщина!

– Тем лучше! На то и есть депутат, чтобы защищать подсудимых; так кому же и быть депутатом, как не родственнику?

– Какая уж мы защита, в. в! А можно, так... я тоже и в приказе-то ничего не делаю.

– А подсудимые-то, кажется, недалеко отсюда?

– Да прямо-то так и версты не будет.

– Значит, сегодня я успею допросить их?

– Да наших-то как не успеть, в. в. Только вот Государевича-то как? Он, ведь, неблизко отсюда, да и не той волости, хоть нашего же приказу.

– За этим я уж послал. Это Лютиков так прозывается?

– Так точно, в. в. Вот вы догадались: знаете наши порядки. Удивительное это дело... как это у нас повелось? Видно, как-нибудь начальство надавало эти фамилии. Ей-Богу, в. в., иной мужик у нас и родится и умрет, а не знает своей настоящей фамилии... по писаному-то. Вот нас... не одна деревня Негодявы пишемся; Иванов Федоровых Негодяевых трое в нашей деревне: а много промеж себя зовем Журич –

это значит, у его отца прозвище было Жура, иного Палкич, иного опять Дунич – это значит, мать у него Авдотья была, а попросту – Дунька.

– А вот по этому случаю ты и растолкуй сотскому, кого нужно позвать, а я, пожалуй, перепутаю: знаешь ведь, кого нужно?

– Как же, в. в., при мне ведь Михайло Сенотосович дознание-то делал.

Из объяснения Виктора Ивановича с сотским я узнал, что Матвей Негодяев, по случаю кражи у него, получил прозвание Матюги Холощеного.

– Так вот ты за этими, что сказал тебе Виктор Иванович, сейчас же пошли десятского, а сам побудь здесь... там подожди, – сказал я сотскому.

– Слушаюсь, в. в.

Сотский вышел.

– Теперь, Виктор Иванович, сделай-ка реестрик – кого надобно вызвать на завтрашний день: фамилии, п о-п и с а-н о м у, я подчеркнул в акте дознания карандашом: вот бумага и чернила.

Пока Виктор Иванович делал выписку, я распорядился об ужине.

Выписка готова. Явился сотский.

– Вот по этому реестру всех вызови завтра утром рано, да чтобы для повального обыска о подсудимых было человек десятка два из соседей... знаешь каких?

– Знаю, в. в.. не впервой при следствах-то бывать! Чтобы не было родни, штрафованных, да малолетков.

– Да. Да чтобы наполовину было мужиков, да наполовину баб.

– Слушаюсь, в. в.

Сотский вышел.

– Вот, в. в., – заметил Виктор Иванович, – угостите же вы баб-то наших.

– А что?

– Да, извините, в. в., у нас до того на повальных обысках все одних мужиков допрашивали.

– А чем же бабы, особенно о бабе, не свидетели?

– Это так, в. в. Да и о мужике баба все лучше знает мужика. А опять, в. в., ведь мужик скорее бабы душой попрет. Это верно, в. в.; а только что прежде-то этого у нас не водилось.

– Ну, пусть с этой поры будет.

– А, извините, в. в., это вы ловкую штуку придумали: ей-Богу, мужики того не скажут!

– Вот, увидим. А ты садись-ка, так гость будешь.

– Покорнейше благодарю, в. в.

– Скажи пожалуйста, – вам ведь ближе знать: – что это за люди, которых Негодяев обвиняет? Хоть Лютиков?

– И, в. в! Да ведь это золотые руки! Широко надо искать такого плотника... Кому поденщины платят полтину, а ему три четвертака, восемь гривен, а не то и весь рубль отдай!

– Так что же он?..

– А слухи худые. Да, видно, сами увидите, в. в.

– Ну, а другой... Иван Негодяев?

– Этот, в. в., парень еще молодой... из прожиточного дому... и глупостей за ним никаких не слыхать было... а, при том, кто его знает? Чужая душа – потемки.

– Ну, а Ирина?

– Да как вам сказать об Ирине, в. в. Ведь и за ней больших-то глупостей не слыхать. Изволите видеть, еще в девках связалась она с этим Лютиковым; родители ее люди – прожиточные... ну, а выдали ее по этой причине в бедный дом... ну, и приданым обделили. Вот в новой-то семье и не красно житье стало: раз недостатки, а другой раз – и укорят; иной раз и не доест – не допьет; ну, и тычок лишний достанется... Да все-таки пойдет ли, в. в., баба в ночную пору в чужую клеть ломиться! Разве Лютиков как подвел?.. Да опять тот сам лучше ее все норы в матюгином-то доме знает: сам рубил, так... да и животы-то матюгины тоже. – Бог их разберет!..

– Ну да как, по крайней мере, в народе-то говорят?

– Да всяко врут, в. в., и толку не дам; а все больше на этих на троих ляпают. Да вот и сами увидите, в. в.

– А сам-то Матвей Негодяев – что за человек?

– Этот, в. в., мужик просужий: эдаких и по волости-то не много сыщешь. Обидели сердечного!.. Да вот и он! Легок на помине.

В комнату вошел крестьянин лет под пятьдесят. Как водится, помолился на иконы и раскланялся.

– Ты Матвей Негодяев?

– Я, я, в. б., – проговорил, задыхаясь и близко подходя ко мне, Негодяев. – ...Учул про ваше бл., так прибежал.

– Да что ты, дядя Матвей, заметил ему Виктор Ивановичу, – к рылу-то его выс-ия лезешь! Ведь он не глухой.

Матвей немного отодвинулся,

– Это тебя обокрали? – спросил я.

– Меня, меня... Охолостили, в. в., – отвечал он жалобным голосом.

– Да как же это?

– Да как? Известно как! Взяли, да и...

– Ну, да мы начнем по порядку: вот я тебе прочитаю, что написал становой в дознании...

– Вычитай, вычитай, в. б.

Я прочитал. Оказалось, что Матвей Негодяев заподозрел Лютикова потому, что тот строил его дом: след. знает все ходы, по всей вероятности, имеет коловорот, которым просверлена дверь в клеть, и при том он и раньше слыл вором; Ивана Негодяева – потому, что этот в тот вечер, когда Матвей Негодяев уезжал с женой куда-то на свадьбу на несколько дней, приходил к нему, опять, вероятно, с тем, чтобы удостовериться, что его не будет дома, и наконец Ирину Негодяеву – потому, что она имела любовную связь с Лютиковым.

– Кроме этого, ты не можешь ли представить еще каких-нибудь улик?

– Да что еще больше, в. б.? Окромя их некому! Вы, в. б., понажмите-ко их хорошенько. – Последние слова Негодяев проговорил, опять близко подойдя ко мне и тихо, чуть не шепотом. – Особливо Ириху-ту... – прибавил он.

– Отчего же это особливо Ириху?

– А вот что, в. б., – отвечал Матвей все тихим голосом: – этта, как становой-от, Михайло-то Сенотосович, напе́рво

приезжал по моей потеряхе, так как поезжал, так говорил мне: «Ну, брат, дядя Матвей, не сыскать, говорит, твоей потеряхи, коли ты боле того не докажешь. Жаль, говорит, мне тебя! Ты, говорит, вот что: ты, говорит, к Ирихе-то присуседься: она, говорит, о своем-то дружке не проляпает ли, говорит, чего. А что, говорит, выпытаешь у ее, так то и скажи, говорит, следователю, как он наедет... Это, говорит, я тебе любя говорю. Да, говорит, коли следователь.... ваше-то благородие... не такой же дурак, – это становой-то говорит, – как ты, так он и сам тебя про это поспрошает.

– Ну так ты что же?

– А вот я, в. б., – отвечал Матвей все тем шепотом, – и стал я этта ей, Ирихе-то, копаться: попроведай, говорю. Она говорит: ладно, дядюшка Матвей, да мне, говорит, нечем подняться. Он, говорит, Государевич-от, это в Вакомине ноне, и ведь без вина, говорит, не шибко к нему подползешь. – Вот я говорю ей: на, говорю. А сам и подал ей четвертак... она и сама не попрется... еще в ту пору прилучились у меня все пятаки серебры, так я и подал ей пять пятаков. Ладно, она говорит, сбегаю. Вот хорошо; сбегала она это и ляпает: Государевича, говорит, это дело, да Ваньки Долговязого (Ивана Негодяева), а животов своих, говорит, дядюшка Матвей, видно, и не ищи: в Чушевицах, говорит, у Ольки Приспича, да у Ваньки Оленича.

– Ну что же еще она сказала?

– Ничего больше, в. б., не сказала.

– Ну, и ты проведывал про Ольку Приспича да про Ваньку Оленича?

– А вот уж и не проведывал, в. б.

– Так как же?

– А видно уж так, в. б.; видно уж вправду Михайло Сентосович смеялся; говорит, коли ты такой же дурак, как следователь... Ваше благородие, так...

– Ой ты, Омеля! – вмешался Виктор Иванович. – Разве так тебе становой говорил? Он сказал «не такой дурак».

– Не прогневайтесь, в. б., – поправился Матвей, – я это только с глупа речи переставил... смешался.

– Ну, да не в том дело. Ты больше ничего не можешь сказать? – спросил я Матвея Негодяева.

– Да видно все... Эка паре, Виктор Иванович, – обратился Матвей к депутату, – ведь не по скусу это я изладил... об Ольке-то, да Ваньке не проведал? Эка ты втора какая! – При последних словах Матвей почесал в затылке. – Да не проведаешь ли ты сам, в. б.? – прибавил он.

– Проведать-то я проведаю; только не поздно ли уж будет?

– А бывat и найдется.

– Посмотрим. А теперь пока ступай, да не отлучайся. Да пошли сюда, если кто пришел из этих, Ирину или Ивана Негодяева.

– Ладно, в. б., надо уж быть: десятник-от бежит... мне навстречу попался, так...

Матвей Негодяев вышел.

– Вон, в. б., с той стороны колокольцы слышно: не Лютикова-то ли везут? – сказал Виктор Иванович.

– А может быть: рассыльный вперед меня за ним поехал.

В комнату вошел молодой человек очень высокого роста, с энергическим и до крайности черствым выражением лица.

– Кто ты такой?

– Иван Негодяев.

– Говорят, что ты обокрал Матвея Негодяева.

– Да кто говорит-то?

– Во-первых, сам он.

– Мало ли что он ляпает! Язык-от без костей ведь.

– Зачем ты приходил к нему перед его отъездом?

– Да так. Мало ли друг к дружке ходим?... Не все воровать...

– Ты можешь доказать, что в ту ночь дома ночевал?

– Да как доказать? Дома ночевал, да и все тут...

– Не можешь ли указать свидетелей?

– Да, пожалуй, вся семья скажет.

– Нет, из посторонних.

– Да какие по ночам сторонние. Вот в лонской год о эту пору, так швецы жили, сапоги робили; потом катальщики,

а ноне не привелось.

– Ступай, только пока домой не уходи.

– Ладно, поманю*.

Он вышел. Вошел мой рассыльный.

– Лютикова привез, в. в.; прикажете позвать?

– Да.

– Слушаю-с.

Лютиков вскоре явился. – Наружность его бросилась мне в глаза своими особенностями. Это человек лет 35, большого среднего росту; очень темные мягкие волосы его, хотя и длинные, но подстрижены и причесаны не по-крестьянски; кожа на лице тонкая, очень белая, покрытая матовою бледностью; вообще лицо умное и красивое, но спокойные глаза его не имели никакого выражения. Костюм его отличался оригинальностью: он был и не крестьянский, и не городской; всякая принадлежность его, казалось, была приготовлена соответственно его своеобразным вкусам и привычкам. Вся фигура его просвечивала каким-то утомлением, какою-то вялостью. Вообще с виду он нисколько не похож был на плотника-поденщика.

– Тебя обвиняют в краже у Матвея Негодяева, – сказал я.

– По насердкам, ваше в-дие, – спокойно и сдержанно отвечал Лютиков. – Я ведь и Михайлу Сенотосовичу указал посредственников: те не попрут душой – скажут, где я был в ту ночь. Он записывал это.

– Я переспрошу твоих посредственников. Но, говорят, будто ты Ирине Негодяевой сказывал, в Вакомине, что это дело твое и...

– Да я и не видал ее... потаскухи.

– Не хочешь ли чего еще сказать к своему оправданно?

– Нет, ваше в-дие, не в чем мне и оправдываться-то... сами видите. Так вот попусту ляпают; нечего им, видно, делать-то, так... одна проманка!..

– Ну, ступай пока, только не отлучайся.

– Слушаю, ваше в-дие.

---

* Манить – ждать; отсюда проманка – напрасная потеря времени.

Я велел позвать Ирину Негодяеву. – Вошла женщина еще молодая. На красивом и симпатичном лице ее видны были следы тяжких страданий. Костюм ее обличал привычку к опрятности и даже щегольству.

– Ты Ирина Негодяева?

– Я, ваше благородие.

– Ты как будто нездорова?

– Ой шибко, ваше б-дие, нездорова, на силу на великую приползла...

– Если очень нездорова, так зачем же шла? Я бы мог...

– Как можно, ваше б-дие, коли начальство требует!

– Ну, по крайней мере, садись.

– Ой, спасибо тебе, ваше б-дие. А то моченьки моей не стало: еле-еле ноженьки держат.

– Чем же ты нездорова?

– Да чем? Продала я тело свое белое дьяволу, так, видно он, окаянный, и терзает его.

– Вот тебя винят в краже у Матвея Негодяева.

– Ой, не верь им, ваше б-дие! пойду ли я экая, о эку пору, на экое дело! Продала я тело свое белое дьяволу, да душеньку упасла. Это все дядюшка Матвий с ветру ляпает... за спасибо, видно, что я ему след указала. Для его потеряхи, сам видишь, ваше б-дие, здоровье-то мое, в ночную пору, по буторе*, по непогоде, за 5 верст на Вакомино бродила, а он?.. Бог ему судья да Мати Троица Пресвятая Богородица... Трех скорбящих Радости!

– Это так... Но ты не можешь ли представить положительных доказательств, что...

– Нет, нет, ваше б-дие, не могу, – перебила меня Ирина. – Не из каких достатков мне положить тебе: разве ниточек али груздочков... да этого-то не примешь, поди?

– Не о том я говорю тебе, голубушка...

– Ну, бывать, и не о том: это я по своему по глупому разуму так... а груздочки-то такие беленькие, малехтинные!..

– Не то ты говоришь; ты не поняла меня.

– Так, видно, не поняла.

---

* Бутора – снежная метель.

– Я хочу сказать: может быть, ты в эту ночь, когда...

– Как дядюшку-то Матвия холостили?

– Да. Может быть, эту ночь ты не дома, в другой деревне ночевала?

– Нет, почто не дома, ваше б-дие! Хоть и продала я дьяволу тело свое белое, да душеньки не продала: не опоганила я честна венца... Нет, как не дома, – дома, ваше б-дие!

– Ну, может быть, ты тогда больна была... лежала?

– Нет! Почто я бухтину экую на себя наляпаю? И так уж продалась на потерзанье дьяволу. А тут еще другую болесть напускать на себя! Нет, ваше б-дие, не лежала я в ту пору. Тяжко мне и теперечи, да все ползаю.

– Не может ли кто из посторонних сказать, что ты тогда ночью дома была?

– Как это из сторонних, ваше б-дие?

– Ну, например, не стояли ли у вас в то время швецы, катальщики?..

– Ой, ты опять за то, ваше б-дие: не веришь мне, так верь нездоровью моему: ну, свяжусь ли я экая со швецами, али с катальщиками?.. До того ли мне! И с мужем-то так...

– Ой, ты глупая сестреница! – вмешался тут Виктор Иванович. – Не то говорит его высокоблагородье. Он не говорит тебе, не спала ли ты с швецами, али с катальщиками, а, может, ты ночью не вставала ли за чем, так они не приметили ли?

– Да почто это мне ночью вставать?

– Ну, да хоть проветриться из избы выйти, – смеясь, сказал Виктор Иванович.

– Почто это?.. Да никаких у нас в ту пору и швецов не ночевало. Не разумею я, что экое вы и пытаете-то у меня?

– Глупая! – опять вмешался Виктор Иванович, – ведь от добра тебя это его в-дие спрашивает.

– Не знаю я! Вестимо, от добра.

– Ну, оставим это, – сказал я.

– Одно слово: не виновата я в матюгином деле. Виновата я, грешница, что в девках обходилась с Государевичем: продала лукавому тело свое белое, а не опоганила честна

венца... упасла свою душеньку чистую. Да вот я тебе, ваше б-дие, все с краю расскажу... а ты все пропиши...

– Да мне до этого нет никакой надобности.

– Нет, видно, есть, коли все о швецах, да о каталыциках допрашиваешь. – А ты лучше напиши все с краю: облегчи ты мою душеньку чистую!

Ирина повалилась ко мне в ноги, рыдая.

– Хорошо, я напишу все; только теперь отвечай на мои вопросы и успокойся.

– Ладно, ваше б-дие.

– Посылал тебя Матвей Негодяев в Вакомино... расспросить Государевича?

– Посылал, посылал, ваше б-дие! Как не посылать?

– Ну, как же было дело?

– А вот как, ваше б-дие. Повстречался этта со мной дядюшка-то Матвий, да и говорит: «вот что, говорит, не доползешь ли, говорит, до Вакомина? Государевич-от, говорит, тамотко ноне. – Ну, так что, говорю, дядюшка Матвий? А он говорит: «Не проляпается ли он тебе чего о моей-то потеряхе?» А я говорю: – дядюшка Матвий, мне не с чем подняться: ведь надо... «Да ну», – говорит дядюшка Матвий, а сам, эдак, выволок мошну-то, да и говорит: «Вот тебе!» А сам отвесил пять пятаков серебров... Иди! говорит. Вот, это, я и поползла... Бутора такая! Свету божьего не видать... Вот с этой поры, ваше б-дие, и ноженьки-то свои я отходила. Прихожу, это, я на Вакомино. – Здравствуйте, говорю я, Иван Васильевич! Это, будто, Государевичу-то я говорю. А он говорит: «Добро пожаловать», говорит, а сам, эдак, ухмыляется. «Не Матюга ли, говорит, подослал?» – Почто, говорю, Матюга? Сама пришла. «А коли есть, говорит, что, так выкладывай!» говорит. – Есть, говорю. «Ну, так пойдем; только, говорит, понапрасну ищет Матюга: хошь и наше дело, говорит, да не найти». – А где же? – говорю я. А он говорит: «Пойдем, так, говорит, все расскажу». Вот пошли. Приходим, это, мы в кабак к Егору Прокопьевичу. Сели, эдак. «Вот, говорит... это Государевич-от говорит... Егор Прокопьевич! Матюга с подсылом послал ее... про потеряху. Давай, говорит!» Это мне опять говорит, а сам, эдак, миг-

нул Егору-то Прокопьевичу. – Да что давать-то... на сколько? – говорит Егор Прокопьевич. А на все, говорит Государевич, а сам меня, смеючись, обнял, а я отвернулась, это. – Давай, говорит, так все расскажу. Я отдала четыре пятака серебра. – Нет, врешь, говорит, еще давай! – На, говорю, только скажи. – Ладно, говорит. Скажи ты Матюге поклон, да скажи, говорит, что не искал бы животов... В Чушевицах, говорит, у Ольки Приспича, да у Ваньки Оленича, говорит... а там уж, говорит... А на следстве этого не ляпай: запрись, говорит; а не то хуже будет: меня ведь тебе не доличить! Егор Прокопьевич не свидетель, а Олька с Ванькой свое дело знают тоже. – С тем я и домой пошла. А дядюшка Матвий еще лается... деньги назад просит... «Что ты, говорит, сука, эко место ворам пропоила?» А я говорю: – хотела было хошь один пятак слизнуть, да и тот выпросили.

– А кроме Егора Прокопьевича, не видал ли кто тебя с Лютиковым в Вакомине?

– А видели меня темная ночь да бутора.

– Да где ты его встретила?

– А на улице встретила, да и все тут.

– Ну, не хочешь ли еще чего сказать?

– Как не хотеть! А вот как я дьяволу-то, окаянному-то продалась...

– Ну, об этом я тебя уж завтра расспрошу.

– Смотри, только не обмани, ваше б-дие?

– Ты бы здесь ночевала.

– Да и то здесь: куда я экая поползу? Тетушка-то Офимья Петровна, хозяйка-то здешняя, мне божатка будет, так у нее я переночую,

– Ну так прощай.

Тут отпустил я и Виктора Ивановича и отдал приказание сотскому на следующий день. Между тем Градова накрыла стол и принесла мне ужин.

– Не обессудь, кормилец, ваше в-дие, – проговорила она, кланяясь, – не ждали... так...

– Полно, матушка! Ты всегда так вкусно кормишь... Вот я-то тебе надоедаю... в такую пору хлопочешь...

– Ой, кормилец, в. в., уж весь век свой около станции трусь, так....

– Ну, да по пословице, соловья баснями не кормят. Вот выкушай-ко на здоровье, – сказал я, наливая ей свой дорожный стаканчик.

– Покорно благодарим, в. в., – сказала Градова, принимая стаканчик. – Не обидеть бы вашу-то милость?

– И, не беспокойся!

Градова не выпила, а высосала водку с гримасами, как будто пьет какую-то отвратительную микстуру.

– Ну, теперь садись, так хозяйка будешь.

– Покорно благодарим, кормилец, коли не погнушаетесь. Дочушка-то уснула, так... горе такое!

– А что?

– Да все, кормилец, на животик жалится.

– А что ты ее лекарю не покажешь? Ведь недавно здесь был Александр Петрович?

– Показывала, кормилец, показывала. Носила к нему на почтовый.

– Ну, что же?

– Лекарство дал, кормилец.

– И помогает?

– Помогает, кормилец, помогает: ноне получше стало. Дай Бог ему самому доброго здоровья. Добрый этот барин у нас! До того что, что лекаря тоже были! Я ведь, кормилец, как за Михайла-то вышла, так все около обывательской трусь; ну, так все господа-то наши приметны нам. В ту пору, как стала я помнить, лекарем-то, уездным-то, был у нас, – долго таково, – Карло Игнатьевич... из поляков, сказывали. И такой был немилостивый: хоть какой больной приходи – прогонит! У вас, говорит, свой удельный лекарь есть. А удельный-то лекарь где? В те поры контора-то в губернии была. Наш-от лекарь в 3 года раз проедет, да и то только лошадей переменит. А ведь этот Карло-то Игнатьевич, ину пору, неделю и больше выживет. Прежде ведь не то, что ноне. Вот и ты, кормилец, сегодня приехал, а завтра и норовишь куда-нибудь дале, а до того не то; да еще как голову подымут... своей ли смертью умрет человек

ли, баба ли, – все потрошат! И со всякой головы волость лекарю окуп подай. Наперво Карло-то Игнатьевич по пятидесяти ассигнаций брал, а после, как на серебро пошло, так по 25 целковых стало... надбавил!

– Да зачем же платили?

– Ой, кормилец! Не дай, так всю волость испоганит.

– Как это испоганит?

– А вот как, кормилец. Увидит лекарь который дом получше – и велит туда покойника волокчи. Вот хозяин и откупится. Тут поволокут в другой дом, в третий, да так всех и очистят, а ино, бывает, и потрошить-то не надо, либо на улице выпотрошат; а, глядишь, сойдет и боле пятидесяти-то рублей. Али Божьей милостью человека зашибет: сгонят всю волость стрелу искать, и ни одинова не нахаживали! А ноне о таких и следства нет: становой духом велит схоронить; только разве попы поперечат.... да то что? А дивно это, в. в! Этот Карло-то Игнатьевич: и речь у него русская чистая, и обличье русское, а поляк!

– Ну, а как же все это вывелось?

– А уж и не знаю как это, кормилец, вывелось: как-то помаленьку. А все же оно велось. А вот нынче, как настали ваш брат, следователи, так Александр-от Платонович, что перед вами был, тот и вконец вывел. Утопленника в ту пору подняли у нас. Он это и наезжает. Созвал это он мужиков, да и говорит: лекарь, говорит, у вас денег будет просить, так не давайте: не надо, говорит! Уж не знаю, знал ли он, что лекарь станет просить, али что.... только и вправду лекарь стал было подлезать так и сяк, – да, говорят, нет! Смешной такой этот лекарь был; только недолго был. А шибко смешон был! Из жидов, сказывают, вот что Христа-то распяли....

– Чем же он смешон был?

– Да с рожи-то, кормилец, как-то непригляден был... живейный такой.... долгоносый; а сам до нашего брата, до баб, падок был; а того не разумеет: кто же на поганого полезет, прости Господи? Наш-то молодяжник, промежду себя смеются; говорят: у них и мужики-то не так, как наши, ходят. А отец дьякон поддакивает, говорит: они подре-

занные какие-то. Дивлюсь я этому, кормилец: как это у них бабы-то ребят носят? Ведь не сами же о себе... Разве как в нечистого-то веруют, так это он, окаянный, как-нибудь... А Богу он никак не молился: ни по-ихнему, ни по-нашему. Вот поляки-солдаты опомнясь с арестантами приходили, тоже с поляками, так те молятся и кстятся, только не смыслят, как кститься-то... всей пятерней... ровно на балалайке играют. Не знаю уж, разве не декуются ли они это?

– Ну, а теперь у вас и свой лекарь недалеко.

– Недалеко, да что в нем проку? У него веришка-то и есть помогчи, и, сказывают, знающий; да что в нем? Придешь к нему, а его лицо корпежит.

– Отчего же корпежит?

– Да ишь ты, кормилец, он из немцей: чтó мы говорим ему – он не понимает, а опять что он по-своему-то лепечет – мы не разумеем. Ему это забедно, а нам-то ину пору и смешно покажется. А он бы, сердечный рад.... Да нет! Ноне не то: и Александр Петрович и наш-то лекарь приедут, так не то, что на дом ко хворому сходят, а недалеко-то, так и в другую деревню съездят. Нет, нет, уж не то ноне стало! Вот и закалякалась я, кормилец, а тебе, поди, и на покой надо?

– Ну, так покойной ночи.

Только что проснулся я на другой день, Матвей Негодяев уж стоял в моей комнате.

– Что тебе? – спросил я.

– Да вот что, ваше выс-ие, – проговорил он, наклоняясь к моей постели, почти шепотом: – Кипрюха ляпает: Ириха-то, говорит, ему созналась....

– В чем же она ему созналась?

– А говорит, как они дверь-то вертели, так она, потаскуха, им теплину держала.

– Будто так она ему и сказала?

– Так, так, в. в! Его бы к присяге притянуть, так, бывает, и не отопрется.

– А Кипрюха-то здесь?

– Здесь, здесь: привел.

– И опять, я думаю, поплатился?

– Да что делать, в. в., хоть и охолостили, а все мошну выворачивай: косушку посулил!

– Хорошо, спрошу; а ты пока ступай, да пошли сюда сотского.

– Ладно, ладно, в. в....

Вошел Виктор Иванович.

– Здорово ночевали, в в.! – приветствовал он меня.

– Покорно благодарю. Садись, так депутат будешь. Хочешь чаю, так сам наливай.

– Былое дело, в. в. А народ-то никак весь собрался: людно что-то... и бабья понабралось!..

Вошел сотский.

– Да вот я посылаю за священником; а той порой сделаем очные своды и допросим неприсяжных. Ты, сотский, сходи, попроси сюда священника, чтобы пожаловал с крестом и Евангелием.

– Тотчас, в. в.

На очных сводах все свидетели были допущены к присяге. Неприсяжные же семейники Ивана Негодяева и Ирины показали, что тот и другая в ту ночь, когда была сделана кража, видно, дома ночевали: «Почто-де не дома? Куда нужно сходить – на то день есть».

Явился священник. – Я позвал сотского, с тем, чтобы приказать ему послать в мою комнату свидетелей, которые должны дать присягу, и прикосновенных к делу лиц.

– А вот этого человека, – сказал священник, указывая на сотского, – я покорнейше прошу, в. в., предать суду: он еретик!

– Не знаю, батюшка, – заметил сотский, – который из нас еретник есть: ты, али я?

– Ты будь вежливее со священником! – заметил я сотскому.

– Да ведь он наперво облаял крестьянина богомерзким назвищем... своего сына духовного: чем бы благословить, а он еретником обзывает...

– Нет тебе моего благословения! Ты не только еретик, а и ересиарх. Я прошу вас, в. в., поступить с этим человеком по всей строгости законов!

– Мне, батюшка, кажется, что это меня не касается, да, признаться, я и не понимаю, в чем тут дело.

– А вот какое дело, в. в.! – сказал сотский.

– Ну, ну! Пусть сам расскажет, – заметил священник. – Вы увидите, в. в., что он сам себя обвинит. – Вот какое дело, в. в., стряслось у нас с отцом И., – начал сотский. – Ономедни Бог послал мне сына. Вот я и пошел по его благословение на погост... молитву родильнице дать, а младенцу имя нарекчи. В ту пору шугу* несло, так пешком пошел. Дожидался этта я его благословения, дожидался! Чуть не целый день проманил. Перед вечером уж собрались. Доходим до реки. А я это с той стороны, с нашей-то, про его благословение и лодку привел. Как дошли мы это до реки, он и говорит: «Знашь ли что, Кузьма? Больно, говорит, мне за реку попадать неохота!.. не равно захлебнет... ишь как шуга-та валит, говорит». И я-то это вижу: шибко шуга напирает! – Да как же, говорю, в. бл.! Ведь надо же хрестьянский долг исполнить? Ведь она у меня не какая-нибудь!... «А вот что, говорит, Кузьма: я молитву-то этта вычитаю, а ты ее родильнице-то сам отнеси». – Да как же это, я говорю, батюшка? «А вот как, говорит, ...это по правилу можно... Слыхал, поди, что как нет попа да воды, так повитухи сами в песке кстят?» – Это точно, говорю, батюшка, бают про это; да то кстить, а это молитву дать! «Ой ты, говорит, голова, не сумневайся! Давай-ко, говорит, шапку-то сюда!» Я это дал. Вот он перекстил ее эдак, да и пробормотал в нее молитву ли, что ли, прости Господи!.. Потом опять перекстил; зажал края-то, да и говорит: «На, говорит, да только не разжимай до дому-то!» Вот это, взял я, а сам сомневаюсь... дело экое небывалое! Подумал я это, да и говорю: а как же, батюшка, я через реку-ту попадать буду? Одной-то рукой в лодке, да еще по шуге и простой не

---

* Шуга – осенний лед или, правильнее, густеющая на дне реки от холода вода, которая, иногда вместе с песком, охладевая вследствие расширения, поднимается на поверхность в виде мокрых комьев снега, плывет по течению и, от действия холодной атмосферы, превращается в лед.

попадешь, а опять молитва-та, ведь, не зашита? «Ну, говорит, молитва-та ведь не лягуша... не ускочит!» – Нет, говорю я, батюшка, как хошь, эдак, по моему скусу, неладно. «Экой ты, Кузьма, говорит, бессребреник! Ну не хочешь, так вот как, говорит, сделаем: эдак-то, говорит, пожалуй, еще складнее будет». Тут он выволок из кармана пол-просвиры да опять и вычитал на нее что-то. «Ну вот, говорит, неси эту просвиру домой, а как принесешь, так разломи пополам: одну часть пусть родильница скусит, благословясь, а другую – пусть на ворот повесит: это, говорит, и от глазу еще помогает. А эту, говорит, что в шапке-то, пожалуй, и выпусти». Это мне и самому складнее показалось. Взял я, и говорю: а какое же имя-то нарек? «А кого, говорит, она принесла: парня или девку?» – Почто, говорю, девку? Известно, парня. «Смотри, говорит, как бы нам не обмишулиться... ноне ведь строго стало». – Да что ты, говорю, батюшка: неужто я уж этого-то не разумею, что парень, что девка! «То-то, смотри! говорит». Не сомневайтесь, говорю, в. бл. «Георгий, говорит, осенний будет», – это по-ихнему Георгий, а по нашему Егор. Ну ладно, думаю, пусть Егорко будет... имя не худое! Перед осенним Егорьем и дело было. Да уж после спохватился, что не след бы и на просвиру-то начитывать. Вон, ведь, оно какое дело, в. в.: ведь мне от малых робятишек проходу не стало!.. Зубоскалят! Как, говорят, дядюшка Кузьма, молитву-то в шапке из-за реки перепроваживал?

– Борони, борона! борони, да добаранивай! – перебил о. И.

– Ладно, ладно, батюшка, и до конца дойдем! Ну, а потом, в. в., привожу я это младена-то на погост... кстить то есть. Ну, видно, и тут не без проманки обошлось. Ну, вот окстили... без меня дело было. А как окстили, мне кум-от Митрей Иванович и говорит: «Ведь неладно, паре, окстили!» А что? – говорю. «Да поп-от парня-то ведь Пудом, говорит, назвал». – Как так? – говорю. «Да так, говорит: крещается, говорит, раб божий Пуд!» – Да ты-то, кум, что же? – говорю. «А мне, говорит, что: отплевался так...» – Ну, говорю я, в. благосл., я те сам 500 пудов отвешу! Это точно,

что я сказал эти слова. Помянешь, говорю, ты меня! Объявил это я по соседям; а те говорят: да что это, и вправду? Подадим на него всем миром просьбу, а не то он всю волость во все роды перепакостит. Уж коли одного Пудом назвал, так иного и аршином назовет. Вот и послал я прошение. Нарочно на посад ездил... к ссыльным: славно таково все выписали!.. Так вот отчего, в. в., я ноне еретником стал!

– Доборонила борона? – спросил сотского батюшка.

– Да, видно, доборонила, в. благосл.

– Так вот, в. в., – сказал мне священник: – я говорил, что он сам себя обвинит: при вас он кощунствует. – Глупая голова! обратился он к сотскому: – ведь ты произносишь хулу на единого от 70!

– Да хошь бы от 80.

– Ну вот, в. в., и еще прибавил! Не угодно ли вам его арестовать!

– Батюшка! – ответил я, – это не мое дело.... тем более, что оно уж, как видно, идет по вашему ведомству...

– Как угодно, а по-моему, следовало бы его...

Я велел сотскому позвать людей, которые должны присягнуть и находиться при присяге. – Обряд присяги кончился. Отец И., уходя, пригласил меня к себе, когда буду свободен. Я пообещался. Затем я приступил к допросам обыскных людей и начал с женщин.

Вошла молодая, с привлекательным лицом, женщина, усердно креститься на образа.

– Смотри же, матушка, сказывай все по совести... помни: ни для дружбы, вражды, ниже страха ради...

– Точно так, в. б.

– Иначе, на страшном суде ответ дать должна.

– Должна, должна, в. б!

– Помни, что ты сказала: «Аминь!»

– Помню, в. б., помню: велико слово «аминь»!

– Как ты думаешь: кто обокрал Матюгу?

– Как кто? Разве ты не знаешь?

– Не знаю.

– Ой, вре! Знашь, бывaт, – отвечала мне, лукаво улыбаясь, допрашиваемая.

– Ну, знаю ли или нет, а ты должна отвечать... по присяге...

– Ой ты! Да совру ли я? Из чего мне врать-то?

– Ну, так кто же?

– Да кто? Вестимо кто: кроме Государевича да Ваньки Долговязого некому! Это не я одна говорю.

– Ну а Ирина?

Допрашиваемая подошла ко мне очень близко, толкнула меня в плечо и вполголоса проговорила:

– Что Ирина? С ветру ляпают на Ирину! А ты, Виктор Иванович, смотри не проляпайся, что я скажу... мужики заедят...

– Что ты, милая, – отозвался Виктор Иванович: –я ведь сам присяжный человек.

– То-то, смотри, а не то ведь я и сама Настасье-то Аверьяновне.... помнишь?...

– Ну, ну, – пробормотал Виктор Иванович: – отвечай вправду, что его выск-ие спрашивает.

– Что Ирина! Не пойдет на такое дело Ирина: бабье ли это дело?

– Да ведь вон говорят.... – заметил я.

– А что говорят? Говорят, что она у нас садки* повыела.... а врут все! Я сама, грешница, наперво на нее думала.... Думаю, больше некому.

– Отчего же думала ты, что больше некому?

– А из-под неволи, думала.

– Как это?

– Как? А вот как. Ведь ее, сердечную, за голяка выдали, приданым обделили... сама, вишь, виновата: почто на Государевича полезла? Ну, а тем... новой-то семье... забедно стало, что приданым обделили... Ину пору и есть не дадут. Так вот и думали... а это не она. В девках-то, в. б., какая умница была: ласковая, приветливая... вот экого парнечка

* Огороды.

худым словом не обзовет!.. Ну, а теперь по что-то зубаста стала... Бог ее ведает! А это на нее так... с ветру ляпают...

– Ну, ступай с Богом домой, да посылай поскорее другую. Да нужно руку приложить!

– Ладно. Ты, Виктор Иванович, вели за меня заручить... только, чтобы писарь не знал, что тут написано, – не пролялпался бы!

Вошла с такими же церемониями другая женщина. Она дала такое же показание, но с некоторыми подробностями.

– Говорят, – спросил я ее, – что Ирине в мужнином семействе житье худо?

– Ну, да как наперво не худо: учат!

– Как это учат?

– А как учат нашего брата? Всяко учат: ино за волосицы...*, боле за волосицы, а ино и иным чем: всяк по своему скусу. Вон меня так... да ну его, прости Господи, красную рожу!.. А вон Иришку-ту, ляпают, ногами-то к грядке притянут, да кто чем попало... Всякомя учат нашего брата, кормилец... Нельзя!

– Отчего же нельзя?

– Да ведь уж это не нами повелось: видно, уж по правилу так.

– Да ведь это нехорошо.

– Да для нашего-то брата, вестимо, не больно-то хорошо; да уж коли закон такой, так что!..

Большинство женщин подтвердили показания двух первых, и только три последние остановились на «знать не знаю». Вероятно, содержание показаний первых дошло до мужиков, и те напомнили им о том, что наука и правило не пустые звуки, что у всякого свой скус есть.

Мужики дали показания совершенно в другом, отзывающемся дипломатиею, скусе. Все они, как один человек, сказали, что далеко живут от обвиняемых – иной сажень за 30, другой – за ручьем; что слыхом они уверяются, будто дело Лютикова, Негодяева, а, пожалуй, и Ирины, а окромя того не знают: сами-де тут руки не прикладывали; что о Люти-

* Волосы на висках.

кове они ничего сказать не могут... не нашей-де волости; что Иван Негодяев напредь того ни в каких глупостях замечен не был; что Ирина Негодяева им уж надоела: из-за нее-де вот колькой день проманки... как бы не проляпалась бы, так, бывat, и следства не было бы; что не надо им ее: сама виновата... почто с вором обходилась... у ней ли женихов не было; что если ее и учат, так так и следует: на то закон, на то правило есть!..

После того я допросил свидетелей. Свидетели Лютикова сказали, что действительно в тот вечер он бывал у них по делу, но в какое время, того сказать не могут: часов-де мы не знаем. Тот свидетель, у которого Лютиков будто бы ночевал, заявил, что уходил ли его ночлежник ночью, он не знает: спал, так...

Свидетель Матвея Негодяева Кипрюха, при допросе, подтвердил заявление первого; но на очной ставке с Ириной оказалось, что Кипрюха дал фальшивый смысл ее фразе. Ирина на вопрос его: не была ли и ты с ними? сказала ему: да, видно, с теплиной стояла... На что им я?

На этой очной ставке Ирина, несмотря на явно болезненное состояние, возвысила голос, а Кипрюха уступил перед ее меткими аргументами. Ирина раскраснелась, и только временем заметно было, что недуги напоминают ей о себе.

Вошел Лютиков.

– Здравствуйте, Иван Васильевич! – начала Ирина иронически.

Лютиков не отвечал ей и даже отвернулся от нее.

– Что, Иван Васильевич, – продолжала она: – на одной-то половице стоять, видно, не под елочкой сидеть? Что молчишь... лицо-то свое белое отворачиваешь? Видно, не те речи, Ванюшка, ноне услышишь! Видно, не с молочком я, не под елочку... на егубово задворье пришла?

– Отвяжись! Знать я тебя не знаю, потаскуха!

– Так ты, Иван Васильевич, не знаешь меня? – сказала Ирина, близко подступая к Лютикову.

– Почем я знаю, что ты за бухтину несешь? Доличи: когда я с тобой сволочился?

– А как дядюшке Матвию хоромы робил.

– Врешь ты все.

– А с кем же я в девках-то обходилась?

– Видно, с лешим, коли под елочкой.

– А разве леший учил меня, как младена-то извести?

– А то кто?

– Кто? – крикнула Ирина, выходя из себя. Она приготовилась плюнуть на Лютикова.

Я удержал ее, и она чуть не повалилась на пол.

Скоро пришла она в себя, но физические силы явно изменяли ей. Я предложил ей сесть и быть хладнокровнее.

– Ладно, в. б.... Он говорит – не он; а спроси ты его, в. б., кто посылал меня на Вакомино? Сходи ты, говорит, к Григорью Яковлевичу, да попроси ты, говорит, мелу белого, да купоросу синего, да бели*; да возьми ты, говорит, вина, где знашь; да сботай это в бутылке все вместе; да поставь на три дня в навоз; да потом и пей на здоровье, говорит. – Ишь ты, в. б., он не токмя что младена хотел извести, да и меня-то: это уж я после расчухала...

Тут Ирина, по-видимому хладнокровная, плюнула Лютикову в лицо, Лютиков утерся и заметил мне, что я напрасно допускаю такие бесчинства в моем присутствии. Я предложил составить об этом особый акт; но Лютиков отказался, а Ирина требовала. Я согласил их на том, что в протоколе очной ставки упомяну о том. Лютиков, до сих пор сдержанный и хладнокровный, видимо изменился в лице. Он не ожидал, как видно, удара с этой стороны.

– Ишь как он сбледнел, в. б.! Рожа-та какая стала!.. Трясется! Да постой! Ты говорил, что у тебя коренья есть; что как воровать пойдешь, так все уснут, что ты и начальство опоишь. В. б., обыщи его! Отбери у него эти коренья! У него в левом кармане лежат.

Я призвал сотского и посторонних, и у Лютикова действительно оказались в левом кармане разные травы и бумажки с заговорами.

– Это что? – спросил я Лютикова.

---

* Мышьяк.

– Это вот от мурашей, это от крови, как посечешься, а траву от костолому пью... прихватывает, так...

– Врешь! крикнула Ирина. – А покажи-ка долонь*.

Растерянный Лютиков показал. На ладони оказался рубец.

– Это он, в. б., траву-силу врезывал.

– Врешь, – сказал Лютиков. – Это у меня с измалетства так.

– Нет, ты врешь! Ты мне сам проляпался.

– Коли?

– А у меня не записано. Вот, не правду ли я, в. б., говорю?

– Ну, вот она говорит, – вмешался я, – что ты виделся с ней в кабаке у Егора Прокопьевича и говорил...

– Не видал я ее: все она врет. Спросите хоть самого Егора Прокопьевича!

– Да спрашивай – не спрашивай, а были мы, дядюшкины матвиевы пятаки-то серебры пропивали.

– Врешь ты!

– Его благородие видит, как вру я.

Я кончил очную ставку. Послал за Григорьем Яковлевичем и Егором Прокопьевичем, а сам, вместе с Виктором Ивановичем, пошел к священнику. Там я застал накрытый стол и всю низовскую аристократию: тут были о. дьякон, фельдшер приказа Василий Устинович и еще какой-то хороший прихожанин.

На накрытом столе вскоре появились водка, красное вино и разные закуски: великолепные пироги с сигом и палтусиной; грибы, яйца и разные рыбы во всевозможных видах и сочетаниях.

Все мы выпили по рюмке водки. После того, как водится в порядочном обществе, завелись речи о высоких предметах. Отец дьякон сообщил о некоторых изобретениях своих по части механики. Потом Василий Устинович перетянул нить разговора на свою медицинскую сторону. Упомянув о

* Долонь – длань – древний первообраз употребляемого ныне в искаженном виде «ладонь».

хитрости англичан по машинной части, он рассказал весьма поучительный анекдот о французах такого содержания:

«Как-то приезжают в Париж наши русские какие-то князья ли, графы ли... только люди образованные... расшаркиваются, говорят на разных на ихних языках, все в нос эдак... А там у них дома не обедают... все по трактирам. Вот приходят это они в трактир обедать: давай-ка, брат, говорят, мусью! Вот хорошо. Подают им это битую говядину, биштеки, коклеты разные... ну, огурцы, горчицу... Вот отобедали это; спасибо брат, мусью, говорят, хорошо приготовил! – А это нишаво, это он по ихнему-то, по-французски-то лепечет, таперечи. Ви старой капиль кушаль, а приходить трукой рас, я фас малятой капиль поштуй. Это поихнему, а по-русски значит: теперь я вас угостил старой лошадью, а в другой раз жеребенка зажарю, так не то будет».

Этот анекдот дал повод к самой оживленной беседе. Отец дьякон выразил недоумение.

– У нас в семинарии, – заметил он, – профессор французского языка сказывал, что французский язык то же, что латинский, только в нос говорить нужно, например: pons pontis, мост – pont; mons montis, гора – mont, meus мой – mon, fons fontvis источник, ручей – font и т. д. А немецкий, говорит, язык черт знает что такое: ни на латинский, ни на греческий, ни на русский не похож! Сам, говорит, не могу примениться... да и вам не велю. А это, что вы говорите, Василий Устинович, больше на русский похоже. Ну, вот вы говорите по-французски, капиль, а по-латыни equus, equa... По-моему, капиль больше похожа на нашу кобылу, чем на equa.

– Да ведь в нос, отец дьякон! – возразил Василий Устинович.

– Да разве в нос; да и то никак не выйдет: equa, кобыла, капиль.

– Да не в том дело, – вмешался в спор отец И. – Будь я на месте государя, я бы именным указом запретил это. Сами они хоть лягуш жрите, а наших кобылятиной не окармливайте.

– Нет, – заметил Василий Устинович, – это для здоровья не вредно. Давайте, зажарьте мне лошадиного мяса, а еще если молодого!.. – Тут Василий Устинович чмокнул языком.

– Ну, а приди-ка ты у меня тогда к причастью: не допускаю, скажу: кобылье рыло!

На эту тему спор долго не мог истощиться. Хотя все общество шло против Василья Устиновича, но он чувствовал, что, в теории, он стоит выше предрассудков. Когда отец И. заметил, что все он врет, хвастает, что дай ему самому кобылятины, либо кобыльего молока, так и его бы вырвало, Василий Устинович поднялся на хитрость.

– Отчего же, батюшка, вас-то не вырвало, когда вы принимали в последний раз порошок, что я вам давал? – спросил он.

– А оттого, что одно – порошок, а другое – кобылятина.

– Да ведь это экстракт кобылятины в сухом виде.

– Как так?

– Да так. Это верно.

Отца И. при этих словах Василья Устиновича стало коробить: как будто он муху проглотил. Впрочем, особенно вредных последствий не случилось. Между тем, мне дали знать, что явились свидетели из Вакомина, и я отправился на станцию, пригласив и о. И. прийти туда через несколько времени с Крестом и Евангелием.

Действительно, на станции меня ожидали целовальник Егор Пропьевич и торгующий крестьянин Григорий Яковлевич. Целовальник показал, что не помнит, была ли у него Ирина с Лютиковым: народу-де у него много бывает, так... Григорий Яковлевич припомнил, что действительно дал Ирине сколько-то купоросу и мелу; но бели, хоть и держит ее для заводу, на сторону он никому не отпускает. Очные ставки с Ириной ни к чему не повели: всякий остался при своем.

Спрошенная после того мать Ирины подтвердила слова последней, сказав, что когда заметила, что ее тошнит, отыскала в навозе бутылку и вылила зелье, а бутылку разбила.

Покончив все эти допросы и очные ставки, я призвал Ирину, чтоб исполнить обещание свое – выслушать ее рассказ. Она опять потребовала, чтобы я писал все «с краю». Я согласился; и она начала:

«Вот, как еще в подросточках-то я была, ваше б-дие, так тоже по вечеровaньям ходила. В те поры Государевич-от этот все более в нашей волости робил. Зеленый, пригожий в ту пору был он такой из себя! И теперь сам видишь: из лица белый, кудри черные... А речи?.. Хохотом девки хохочут, как он слово какое этакое скажет!.. Уж и в ту пору люб он мне был, да мала была... зелена. А веришка-то уж была, как бы поиграть с ним... Вот это в долги ли, в коротка ли, вечеруем мы, этак, тоже; а он как-то и подсуседился ко мне, а я про себя-то и рада. Вот он хлесть меня по крыльцам-то!.. Лихо таково! А я ему и говорю: «Ну, ты леший, вавило!» Вот, ничего. Он взял, да и пересел к Машке Кособрюхой. Бедно таково стало мне!.. видно, уж время мне пришло... Вот, ваше б-дие, с тех пор как отрезало! Прихожу, это, домой-то, да и не знаю, что это со мной деется. Всю ноченьку не спала: чего, чего я и не передумала? То будто голос его услышу: посмотрю в окошечко на улицу, а его нет. Поутру встала сама не своя: за что ни хвачусь – все из рук вон падает! Видит это матушка. Любила она меня в ту пору, сердечная... сжалилась, видно, надо мной: сама печет блины, да и говорит: «Вот я тя, плеха, сковородником-то как одену, так ты, говорит, перестанешь у меня как во хмелю ходить!» Да не помогчи уж, видно, было мне ни сковородником, ни иным каким пристрастьем. За завтраком мне и еда на ум нейдет, через силу через великую съела ли я, не съела ли два блинка, а самой так вот и плакать бы! Вот как отзавтракали мы, это, матушка-то и говорит: «Прогони, говорит, скотину за осек»! Больно это мне по нутру пришлось! Так бы вот из избы-то и выскочила! А сама обманываю: мешкотно стала оболокаться... ровно неохота. Инда матушка взъелась: «Ишь, говорит, ровно под венец собираешься!» – Иду, иду, говорю я. Вот, это, погонила я скотину-то. Гоню, а все думаю... Да что думала я?.. Ничего не думала... шла я без ума, без памяти. А на то,

видно, хватило разуму-то, чтобы, как взад-то пойду, так не обойти того местечка, где Государевич робил. Издалека, это, заприметила его... Сидит, бревно обтесывает. А как заприметила, так и ёкнуло у меня сердечушко! Тут и совсем с ума спятила. Ой, думаю, идти, али своротить? А сама все иду на него... ровно кто подталкивает. Гляжу – и он видит меня. Будто лесину прилаживает; на меня поглядывает, а сам песеньку припевает:

Назови меня сестрой родной,
Красивой девушкой!
Уж как нет у меня сестры родной,
Красивой девушки...

Люба мне показалась эта песенька: про меня, думаю, поет... ко мне прикладывает. Вот и после того, как услышу ее, хошь и другой кто поет, так чуть не заревлю... ровно льдом сердце-то обложит!.. Вот подхожу я к нему, сама не своя....

– Бог на помочь, – говорю, – Иван Васильевич! – Это, язык-от сам собою ляпнул. А он положил, этак, топор-от, поклонился, да и молвил:

– Покорно благодарим, Ирина Прохоровна, – говорит. – Как это? – говорит.

– Да за осек, – говорю, – скотину прогонила, так опять домой ползу; – а сама остановилась. – Устала, – говорю. Это опять сам о себе язык ляпнул. Только то правда, что в ту пору как косой подсекло мои ноженьки... инда трясусь вся, а саму всю, как огнем, палит. А он и молвил:

– Присядьте, говорит, отдохните!

– Нет, – говорю, – Иван Васильевич, не заругалась бы матушка.

– Почто, – говорит, – ругаться! – Говорит это он, а сам берет меня за руку, да и садит возле себя.

– Ой, – говорю, – Иван Васильевич! а сама сажусь... и охота, и страшно! Дивно лишь то мне показалося: моя рука ровно в огне горит, а у него холодная, ровно лягуша. Уж после

того вдолги говорю ему: «Почто это у тебя, Ванюшка, рученьки-то такие холодные?» а он говорит: так, видно...

Ну, только как села я возле него, ровно прилепило меня. Вот те Христос, ваше б-дие, хоть бы и захотела встать, не встать бы. Тут, это, он как обнял меня рукой-то, – меня вконец из ума вышибло. Схватила его за шею-то, да и ну целоваться; да не так, как на игрищах целуются, а другомя как-то. Что после того деялось – и самой толком не рассказать, да и не надо. Только в тот час, видно, продала я дьяволу тело свое белое».

Здесь Ирина задумалась, как будто собираясь с мыслями, но скоро снова начала.

– А только что ты не говори, ваше б-дие, а Государевич знает... – При последнем слове она понизила голос.

– Что знает? – спросил я.

– Ну, знает по-своему-то, – отвечала Ирина. – При тебе ведь коренья-то обыскали у него. А то как же, как села я возле него, ровно приковало меня. А опосля того он и сам мне много раз говаривал, что знает... Есть у него, ваше б-дие, и трава-сила, сами видел на руке-то. Ни один человек не устоит супротив ему. Вон, проворен Ванька Негодяев Долговязый, товарищ-от его: даром что молод, а во всей волости не выищется такой. А как связался одинова с Государевичем, так нет. Давай, говорит... это, Ванюшка-то, говорит... кто кого перебьет? – Давай, говорит, это, Государевич-от, а сам ухмыляется. Начинай, говорит, хошь ты первый. Ладно. Вот это ляпнул его по рылу-то Ванюшка, а он лишь пошатнулся, да после подглазницу разнесло. А как Государевич чикнул потом Ванюху, так тот как щи пролил... ровно кряж повалился! Есть опять у Государевича и приворотное. Говорю я одинова ему: Ванюшка, говорю, ведь ты приворотил меня? – Приворотил, говорит; а хошь, отворочу? Подумала я, это, подумала, да нет, говорю: мне, Ванышка, без тебя тоскливо станет! – Ну так как хошь, говорит. О другу пору говорю опять: Ванюшка! не воруй ты, говорю: грех ведь великий воровать! А что, говорит, грех? Попу покаюсь, да и все тут. А мне, говорит, воровать-то просто: как ворую, говорит, так у меня все хозяева спят,

все собаки спят, – хошь топором руби, не услышат, говорит.

Ну, как связалась я с ним, так наперво-то и ничего было: как два голубчика воркуем! Принесу ему молочка, грешница... яичков напечем. Только без него-то уж шибко тоскливо было. Одно дело, разумею я, что неладно делаю, а другое дело – стыд одолел. Все это мне чудится, что все на меня не так посматривают; всякий кусточек, как живой, глядит на меня... и радостно-то мне, и страшно-то! Ну, вестимо, все крадучись делала, а все думала, как бы свои-то не узнали. Да видно, шила в мешке не утаишь. Вижу я, что не проста стала. Прихожу, это, к Государевичу, да и говорю:

– Ванюшка! – говорю, – вот ведь что со мной доспелося!

– А что? – говорит. – Это ничего... надо вынести.

– Нет, – говорю, – Ванюшка! Как вывести! А бывать, на тебя похож?

– А что, – говорит, – что и похож: вором меньше будет!

– Да ты женись, – говорю, – на мне, Ванюшка!

– Не отдадут, – говорит.

– Да ты хошь попробуй!

– Что пробовать-то? Не отдадут, я знаю, – говорит.

– Ой, тошнехонько! – говорю я. – Загубила я свою головушку безответную! Продала я дьяволу тело свое белое! А он все свое.

– Выведем, – говорит.

Как гора после того налегла мне на сердце. Долго я не слушалась его. А уж и свои крепко замечать стали: все промеж себя что-то думают. С той поры, ваше б-дие, не спала я сном ни одной ноченьки; всякий кусок поперек горла шел! И послушалась я Государевича: боле не с кем мне посоветовать... да и кто бы что присоветовал? Каково мне было, девке молоденькой, бегать за снадобьями к Григорью Яковлевичу на Вакомино? Каково мне было в кабак ходить?.. все воровски. Уж легче бы было мне повеситься, да жаль было загубить свою душеньку чистую. Каково мне было, ваше б-дие, это зелье пить... страшное? Как стала я пить его, как дошло до полугруди, – страшно стало мне таково, да все вон и выхлестало!

Вот уж видит матушка, что со мной доспелося. Не красно с той поры стало житье мое девичье... поучили меня родители уму-разуму! А не жалюсь я: не от зла сердца они учили меня... меня же жалеючи.

Вот это распросталась я. Наперво радостно было таково... паренек такой беленький, такой пригоженький! Ну, и матушка им не брезговала. У меня, в. б., от горя-то уж груди высохли, так в молочке от нее про младена мне запрету не было. Ну и батюшка-то тоже... А потом опять я думаю: не родился ты, а родилась уж твоя доля – горе горькое! И эту долю, не гадавши не думавши, я, великая грешница, тебе уготовила!.. Как поднять мне его на ноги?

Вот прибрал его Бог, Пресвятая Богородица. Опять рада я тому, что взяла его Богородица в Царство Небесное, а у самой уж вконец сердце разорвало... Бывать, он, как вырос бы... и меня любить бы стал. А окромя его меня любить некому: все от меня отступилися! Куда ни погляжу, как ни подумаю – а все одна-одинешенька!

– Ну, а Государевич-то что же? – перебил я ее.

– Ой, в. б., что Государевич! Не показался мне он с той поры, как младена я принесла. Сам видишь, каков он есть!

Только вот, как схоронила я своего ясного соколика, и говорят мне батюшка с матушкой: мы-де тебя просватали. Воля ваша, говорю я, родительская; а сама это думаю: уж какая я замужница! А потом опять думаю: как продала я свое тело белое дьяволу, так уж пусть он, окаянный, потешается; лишь бы мне упасти мою душеньку...

Вот прикрыли мою бедную головушку златым венцом, и не испоганила я, в. б., его. «Робь не ленись, есть не стыдись!» встретила меня свекровка-матушка. И ране того не ленива я была, да рученьки не подымаются; не люта была и на ежу я, а уж тут, – до того ли тут!

Тут Ирина, до тех пор сидевшая, встала, обратилась к образам и, осенив себя большим крестом, проговорила:

– Мати Пресвятая Богородица... Трех Скорбящих Радости! Помолись за мою душеньку грешную, чистую! В. б.! – обратилась она ко мне потом: не сади меня в острог докамечи!

– Я и не думаю тебя садить.

– Почто не думаешь? Наши-то сказывают, что посадишь: говорят, ты младена хотела вывести... так за то.

– Нет, я не думаю... мне жаль тебя: я хочу отдать тебя на поруки...

– Да никто не возьмет, кормилец! Коли вправду жаль тебе меня, так возьми ты сам!

– Мне нельзя. В таком случае я мог бы тебя совсем оставить на свободе.

– Ну так ослободи, кормилец, в. б.!

– Да тебе от этого хуже будет: если я тебя не отдам на поруки, так суд тебя в острог посадит.

– Да ведь как ты напишешь, в. б., так и суд так присудит....

– Ну, это еще Бог знает. Да отчего тебя на поруки не возьмут?

– Да все ноне налегать на меня стали: никто не возьмет! Да ведь и мне-то, в. б.: еще и лучше бы в остроге сидеть, али в каторге; только то я думаю, что ведь уж не жилица я на белом свете... уж кончина моя за мной стоит!.. Так умереть бы мне на своей стороне, поглядеть бы еще вон на эту елочку, повыть бы мне на могилушке моего соколика ясного!...

– Так ты не можешь представить по себе поруки?

– Нет, нет, в. б.!

– А вот что, – обратился я к Виктору Ивановичу: – по закону, удельных крестьян могут брать на поруки удельная контора и приказы. Я вас бумагой спрошу: не возьмет ли ее приказ на поруки?

– Как прикажете, в. в.!

– Я не приказываю, а спрашиваю.

– Да коли есть закон, так отчего же?

Я показал закон; написал предложение и передал Виктору Ивановичу. Тот пошел в приказ за ответом.

– А как же, Ирина Прохоровна, – спросил я Ирину по уходе Виктора Ивановича, – говорят, будто ты у соседей все садки повыела?

– Ой, врут, в. б.! Не верь ты им: мне и свой-то кусок поперек горла идет.

– Ну вот, ты останешься на воле.

– Спасибо тебе, в. б.! На том свете помолюсь за тебя Матушке Пресвятой Богородице... Трех Скорбящих Радости.

– Присядь... Сейчас Виктор Иванович с бумагой придет.

Я позвал Градова:

– А схлопочи-ко о лошадях мне, – сказал я ему.

– А в кую сторону?

– Да хоть до Чушевиц, например.

– Ой, в. б., разыщи ты там этих Ольку-то Приспича, да Ваньку Оленича! – обратилась ко мне Ирина.

– Хорошо.

Пока я делал окончательные распоряжения, Виктор Иванович возвратился с ответом.

Я выехал из Низовья.

В Чушевицах я нашел Приспича и Оленича. Соседи отозвались об них, как о людях дурного поведения; но полличного у них не оказалось. На обратном пути я заезжал в дер. Капустинскую, чтобы сделать повальный обыск о Лютикове. Соседи его сказали, что хоть он дома и не ворует; но они желают его сослать, так как об нем слухи самые худые; общество же их честное... ни один человек в магазине не бывал*.

Врачебная управа, куда я посылал для исследования взятые у Лютикова травы, отозвалась, что они к числу вредных не принадлежат, а зелье, которое пила Ирина, безусловно смертельно, и если она осталась жива, то, вероятно, потому, что вследствие усиленного приема ее вырвало.

По получении заключения управы, я представил дело в суд.

Через несколько месяцев я узнал, что дело это уголовною палатой решено. Ирина за покушение вытравить бере-

---

* Это лучшая похвала крестьянину, так как, обыкновенно, если отпускается хлеб из магазина одному, двум действительно нуждающимся, требует ссуды все общество: «выдавать одному, так и всем выдавать».

менность приговорена в каторжную работу; Григорий Яковлевич за продажу ядовитых веществ – к штрафу в 10 рублей, а Лютиков и Негодяев от суда остались свободны.

Опять мне случилось быть в Низовье вскоре после того, как узнал я о решении дела. Снова чаюем мы с Михайлом Градовым.

– А что, в. в., матюгино-то дело решено, али нет? – спросил он.

– Решено. Ирина в каторжную работу.

– Да ведь она уж покоенка, в. в. Дивились мы этта! Наперво думали, вы бабе поблажку делаете, а она в неделю после вас и душу Богу отдала. А Лютикова то, в. в., капустинцы в ссылку ладят: крепко напирают. Климовские там, да Ивойловские... мужики добрые... прожиточные!..

Я поехал дальше.

– Ишь ты как дорога-та измялась! – сказал мой ямщик, поправляя запряжку. – А вон, в. в., и кладбище-то! Иринушку-то ведь схоронили!

– Слышал я.

– Да вот ведь и нашего-то брата нельзя похвалить, в. в., – продолжал ямщик, садясь на козлы.

– А что?

– Да как что? Бают, как учили-то ее, как замуж вышла, так не по тому месту уноровили.

– А ты женат?

– Нет еще, а тоже лажу.

– Будешь жену учить?

– Да ведь без этого нельзя, в. в., ...только надо половчее как-нибудь.

– Ступай!..

II.

ПАТОЧКА

Как-то в последних числах мая 186... года в неклубный день, вечером, сидел я у в. исправника, с которым находился в приятельских отношениях, – на ты, как говорится. Исправник этот был вообще человек неглупый, но имел два недостатка: во-первых, он любил похвастать и рассказать какую-нибудь ерунду – небылицу, а во-вторых, был страстно влюблен в свою наружность, воображая, что в ней соединены обаятельные прелести Марса и Купидона и что ни одно женское сердце не способно противостоять таким прелестям. На этот раз он рассказывал мне об одном удивительном любовном приключении в Петербурге. Его рассказ прервал дежурный полицейский:

– Что тебе? – спросил его исправник.

– Патка опять пришла, выше высокоблагородие, – доложил тот.

– Хорошо, пусть подождет минутку.

Полицейский вышел. Исправник начал потирать руки и его стало подергивать от удовольствия, как куклу на пружинах.

– Ты не знаешь ее? – спросил он меня, продолжая кривляться.

– Кажется, нет, – отвечал я.

– А прелесть что такое! Пойдем, я тебе покажу ее.

Мы вошли в залу. Там дожидалась молоденькая, лет не более 18, женщина или девица, – я не знал ее в то время, – блондинка, с голубыми глазами. Тонкие черты ее нежного, белого и замечательно красивого лица играли лукавым кокетством, и в них не заметно было ни капли теплого чувства. Она старалась казаться печальною; но печаль не могла держаться на этом личике, и так же быстро сменялась

улыбкою, как следы пышков на хорошо отполированной стали. Паточка игриво улыбалась при каждом, часто неостроумном, слове исправника.

– Ну, что тебе опять, душенька? – спросил он ее шутливо-ласковым тоном, близко подходя к ней и вперив в нее, по обыкновению, страстный и пронзительный взор.

– А я все, выше высокоблагородие, о муже-то беспокоюсь: не случилось бы, думаю, несчастья какого!

– Полно, полно, душенька! Муж твой коновал: ну, и ушел на промысел... это такое ремесло... зашел куда-нибудь далеко – вот и все! А ты вот уж в третий раз приходишь с объявлением. Я не имею средств, да и не вправе разыскивать и приводить к женам мужей. – Ты, просто, недавно замужем... Давно ли ты вышла?..

– Да вот после Петрова дня год будет.

– Ну, так и есть. А как поживешь с ним года три, так и привыкнешь к отлучкам.

Паточка официально улыбнулась.

– А давно ли он ушел? – спросил я в свою очередь посетительницу.

– Да вот уж неделя. А говорят, как нет человека три дня, так объявлять нужно, – ответила она.

– Ну, ты чрез три дня и объявляла; так чего же больше беспокоиться!.. – сказал исправник.

– А прежде разве он не отлучался? – снова спросил я.

– Нет-с, не отлучался.... то есть отлучался, – как будто спохватившись, ответила Паточка... – и дольше хаживал; только все какая-нибудь весть приходила об нем, а нынче – как в воду канул-с!

– Успокойся, выплывет! – заметил исправник. – Сначала он больше о тебе думал, так и посылал о себе известия, а теперь стал равнодушнее: вот и все тут!

– Да и со стороны-то нет вестей, ваше высокоблагородие!

– Это оттого, что сторонние не интересуются твоим мужем: он им не нужен. Для тебя – дело другое. Да придет, придет! Успокойся, и иди с Богом!

Паточка ушла.

– А?.. Какова? – обратился ко мне исправник.

– Очень недурна; только, мне кажется, она отъявленная кокетка.

– Этого-то нам и нужно! Ты ведь следователь–деревенщина: ты думаешь, что она и в самом деле о муже беспокоится?

– Сомневаюсь.

– Ну, так вот то-то же и есть! Ты и не знаешь, что здесь в городе делается: это ведь любовница А. И. Онучинова! Ее и замуж-то насильно выдали; а муж у ней пьяный варвар... ну – коновал! Об нем она не только не думает, а рада бы была, если б он и совсем пропал. Нет, я знаю, зачем она ко мне ходит: понимаешь?

– Догадываюсь. Только как же, если она Онучинова...

– Да я-то не хочу. Да ведь ты сам говоришь, что она кокетка: ларчик просто отпирается...

– Может быть.

– Не может быть, а верно. Я уж эти дела произошел, как у нас говорят. Вот я тебе расскажу какой случай. ..

Тут исправник рассказал мне одно удивительное происшествие: как он видел во сне одну аристократку; как она его видела тоже во сне; как потом они встретились в Петербурге, на Невском проспекте, и узнали друг друга, и т. д.

Поутру на другой день мне докладывают, что пришла Паточка и желает меня видеть... Я вышел к ней и спросил о причине ее посещения.

– А тоже объявить вашему высокоблагородию о муже.

– Да ведь вы у исправника вчера при мне были?

– Да они все шутят-с. А я боюсь: не случилось бы чего!

– В таком случае вам бы следовало сделать заявление не исправнику у него в квартире... вечером, а в полицейском управлении: там есть книга для записки словесных заявлений...

– Да мне совестно: там все чиновники... знакомые!

– Во всяком случае, вы напрасно беспокоились приходить ко мне... это не мое дело. Разве вы имеете подозрение, что муж ваш умер... не своей смертью?

– Нет, я не подозреваю, а только боюсь... как бы не случилось чего.

– Хорошо-с: я буду иметь в виду ваше заявление. Муж ваш пьет?

– Пьет. Вот от того-то я и сомневаюсь. Сильно зашибается!.. И на руку дерзок... так, думаю, не задел бы кого, а другой ведь и не спустит... пожалуй, уходят где-нибудь, да и концы в воду!..

– Денег он не брал с собой?

– Нет-с. Какие у него деньги!

– Хорошо-с, я с своей стороны буду иметь в виду ваше заявление, – повторил я, желая отвязаться от странной просительницы.

– Покорнейше благодарю, – сказала она и ушла.

Такие настойчивые заявления интересной коновальши показались мне подозрительными, и я пожелал собрать более подробные о ее личности сведения. С этою целью я обратился к своей кухарке, которая могла рассказать подробнейшие биографии не только жителей города, но и окрестных волостей, которая знала, какие блюда были за обедом в каком угодно доме, какое было дурно приготовлено и отчего, т. е. от того ли, что кухарка не знает препорции, сколько следует класть в уху перцу и лаврового листу, или же от того, что лесничиха купила у Демида надутого теленка.

– Что это за Паточка? – спросил я ее.

– Как что? Известно что: Патка, так Патка и есть! Я ведь знаю, зачем она к вам приходила.

– Почему же ты знаешь?

– Да как не знать? Я уж и раньше слышала, что она к исправнику с объявлениями бегает, а тут, как к нам-то пришла, так я у дверей послушала.

– А ведь подслушивать-то не годится.

– Знаю я, что не годится; попу каждый год на духу каюсь; и он говорит, что грех. Да, видно, так уж человеком повелось: отсохни мой язык, если я в пост молочного когда лизну! Рассыпли передо мной золотые горы – пальцем не дотронусь! – А тут не стерпеть!

– Ну, так что же за человек эта Патка?

– Какой она человек! Патка – Патка и есть! Да как это вы ее не знаете? А еще другой год в городе живете!.. Это Крючихина дочь... вот что домишко-то на Форштате. Мужа, говорит, жаль ей, а врет все: на что он ей? Как бы и век его не было! Она еще в девках с Алексеем Ивановичем, с Онучиновым, сволочилась; Алексей Иванович ее и одел, а то бы где ей в этаких платьях, да в платочках ходить! За коновала-то ее старуха силой выдала. А этот коновал – пьяница, сущий разбойник: за ним много дел бывало.... Как свадьбу-то играли прошлого лета, через неделю после Петрова дня, так коновалу-то ссыльный Лещевский записку прислал, что Патка с Алексеем Ивановичем живет; за большим столом и читали ее; смешно, говорят, таково все описано.... а самой мне тогда не довелось быть. Да и после Патка к Алексею Ивановичу на завод хаживала... я сама видала. Коновал-то однажды сам поймал ее на заводе, да оттуда через весь город на Форштат сквозь строй прогнал: гонит ее, а сам изо всей силы двумя вениками хлещет.... такое было прочестье![*] Такого сраму я от роду не видывала. Так вот они голубки-то какие сизые! А опять вот на той неделе в пятницу Крючиха-та свои имянины справляла, а она с солдатом Ивановым живет; так Иванова-то позвала, а он привел еще старшого, да ефрейтела Чаплина. Ну, и коновалу как тут не быть! Тот опять тут Патку до полусмерти избил.... по всему Форштату содом слышали. А на другой день, будто, коновал по волостям ушел, рано утром. Это оне-то говорят. А по-моему, тут дело неладно. Да после этаких побоев стала ли бы я с объявлениями бегать!.. Пропал, так и черт с ним. Это не я ведь одна говорю: весь Форштат этак же шушукает.

[*] Процессия.

– Что же такое шушукает?

– А что дело неладно, что недаром коновал пропал. Да я и сама в воскресенье на рынке кого-кого из деревенских не переспросила, а все говорят: нигде не бывал. А из ихней деревни Алешка Горюнов, приятель его – такой же пьяница – сказывал, что он с имянин хотел домой воротиться, да не бывал... и на Васильевиче нет. Вот помянете меня, что будет следствие!.. Я не знаю, чего исправник-то смотрит? Дурак, так дурак и есть: ему бы только на баб глазища выворачивать! Десятский Дятлев, что дежурит у него, сказывал, что Патке он говорит: «Не беспокойся, придет, а мне дела нет!»

– Так не солдаты-то ли эти тут?..

– Нет, нет! Не такие это люди! Ныне и простые-то солдаты не то, что прежде: сами знаете, бывал ли хоть один под делом каким?.. Посмотрите, как по вечерам по улицам гуляют! Точно господа... тихо таково выступают... выфантывают!.. У многих свои шинели есть... тонкие... Да то еще простые солдаты, а тут... Первой старший: даром, что таким гвардейцем глядит, а смирнее всякого теленка. И команда вся его любит, и начальство довольно. Другой – Чаплин – ефрейтель: недаром и он начальником сделан! Этот и вина-то, кажется, не пьет. Как можно, чтобы такие люди!..

– Ну, а Иванов?

– И Иванов тоже первого сорта солдат. Как бы худ был, так команда не сделала бы хлебопеком! От этого, так и слово-то редко услышишь, а не то, что...

– Так кто же?

– А кто их знает! Только не эти: этим не суметь!

– Да не Крючиха ли с дочерью?

– Нет, нет! Где им! Посмотрели бы вы на коновала-то! Ведь такого здоровяка не только в городе, так и во всем уезде другого не найти. Здоров Афанасий Васильевич, да и тот ему в подметки не годится. Разве не поднесли ли чего? Да и то нет: не согрешу, грешница. Куда им с ним деваться! Да уж как-нибудь доберусь я!..

– Как же ты доберешься?

– Да как-нибудь надо. До другого до чего допытывалась, а то этакой оказии не разузнать!..

Факты и соображения, сообщенные мне моею кухаркой, заставили меня задуматься. Я должен был отправиться в уезд по одному важному делу, и возвратился в город через несколько дней. В городках, подобных тому, в котором я служил, вести о приезде и выезде чиновников распространяются с неимоверною быстротой. Едва успел я выбраться из повозки и разобраться с своим багажом, как явился ко мне полицейский солдат с пакетом и двумя арестантками. Одна из последних была Паточка. В пакете же заключался акт полицейского дознания, приблизительно, следующего содержания:

«С некоторого времени до сведения уездного исправника начали доходить темные слухи об исчезновении крестьянина В... у. деревни Высокой, по ремеслу коновала, женатого на незаконнорожденной дочери таковой же, по прозванию Крючихи, Клеопатре, Александра Иванова Шерстяникова, имевшего по сему случаю обычай, прибыв в город, приставать у вышепоименованной тещи своей, по прозванию Крючихи. Почему уездный исправник и приступил к секретному дознанию о вышеупомянутом исчезновении крестьянина Шерстяникова, и оказалось: 26 истекшего мая крестьянин Шерстяников, пришед в г. В., по случаю именин тещи своей Елены Петровой по прозванию Крючихи; у коей в то время, а с которого именно числа не упомнит, проживала уже жена Шерстяникова незаконнорожденная Клеопатра Егорова, пристал, по обычаю, у тещи своей. Сия последняя позвала в гости состоящего с нею в преступных отношениях рядового в... команды внутренней стражи Терентия Иванова Иванова, который привел с собой той же команды старшего унтер-офицера Якова Алексеева Клеопатрова и ефрейтора Илью Ильина Чаплина, в бытность коих в доме незаконнорожденной по прозванию Крючихи произошел сильный шум, но отчего – неизвестно; а потом они ушли: Клеопатров и Чаплин перед вечерней или в исходе четвертого часа; Иванов же пробыл до вечера. Никаких знаков насилия на них не замечено, равно как и того, пья-

ны ли они были. На другой день, рано утром, Шерстяников, якобы, ушел неизвестно куда. – Вследствие сего уездный исправник, производя деятельные розыскания, дознал, что утром 27 мая Шерстяников никуда не проходил; почему и сделан был в доме незаконнорожденной, по прозванию Крючихи, внезапный обыск, причем никаких знаков не найдено. Спрошенные же вышеупомянутая Крючиха и дочь ее, а жена Шерстяникова, Клеопатра Егорова, подтвердили вышеписанное с таковою лишь отменою, что зять первой из них, а муж последней ушел неизвестно куда, пояснив, что шум произошел от бития Клеопатры Егоровой мужем ни с чего. При произведенном же вслед за тем осмотре двора и огорода оказалось, что позади последнего находятся два неизвестные бугорка, насыпанные, в виде могил, вновь вырытою землею. При разрытии сих последних, при понятых, в них оказался пополам рассеченный человеческий труп. В одном из них, находящемся к северо-востоку, оказалась голова с верхнею частью туловища, т. е. с грудью и частью живота в одной рубахе, при жилетке, но без шапки; напротив же того в другом бугорке найдены ноги с нижнею частию живота в холщовых портах и в обыкновенных крестьянских, несколько поношенных сапогах».

Я пропускаю слишком мелкие подробности описания каждой принадлежности костюма покойного. После этого описания в акте значилось:

«На самом теле никаких знаков насильственной смерти не оказалось, кроме того только, что затылок рассечен, якобы, несколькими ударами топора с разрублением шейной кости».

Опять пропускаю чрезвычайно обстоятельное описание того, по направлению к какой стране света простерта каждая часть тела. Далее я прочитал:

«Вновь спрошенные незаконнорожденная по прозванию Крючиха и дочь ее крестьянка Шерстяникова, подтвердив прежде данные ими показания, пояснили, что в умерщвлении зятя первой и мужа последней виновными себя не признают и подозрения ни на кого не изъявляют; причи-

ны же того, почему часть трупа найдена в 16 саженях от их огорода, а другая часть в 17½ объяснить не могли, отзываясь неведением. – Опрошенные же затем, при начальнике в... команды внутренней стражи подпоручике Икре, старший унтер-офицер означенной команды Яков Алексеев Клеопатров и ефрейтор Илья Ильин Чаплин, причем рядовой Иванов, за отлучкою, по случаю командировки в г. Ш,, как словесно пояснил подпоручик Икра, не спрошен, подтвердили вышеписанное о пребывании их в доме незаконнорожденной, по прозванию Крючихи, по случаю ее имянин, поясняя во-первых, что в умерщвлении Шерстяникова они себя виновными не признают, и во-вторых, что, когда, при бытности их, Шерстяников начал бить жену свою до полусмерти ни с чего, то они оную отняли; подозрения же в умерщвлении ни на кого изъявить не могут, что и обязались подтвердить при производстве формального следствия надлежащими доказательствами. – Уездный исправник постановил: что хотя через неспрос находящегося в отлучке рядового Иванова акт настоящего дознания оказывается неполным, но как, и за сим, преступление оказывается обнаруженным, то передав оный, при личном предложении, уездному полицейскому управлению для препровождения к судебному следователю, на предмет производства формального следствия, незаконнорожденную по прозванию Крючиху и дочь ее крестьянку Шерстяникову, до прибытия в город судебного следователя, заарестовать при полицейском управлении; к трупу же, для охранения, приставить благонадежный караул, как и к самому дому Крючихи».

Только что прочитал я этот акт, как пришли ко мне исправник и начальник команды Икра. Первый, еще не поздоровавшись со мною, обратился к Паточке:

– Ну, вот, душенька: я говорил тебе, что ты напрасно заботишься о муже?

– Точно так, в. в., – отозвалась Паточка; – только я в этом деле не причинна.

– Ну, – обратился ко мне исправник: – каков я приготовил к твоему приезду гостинец? То гостинец не простой: с

поля битвы кабардинец.... А каково я тебе дознаньице сделал? А? Ведь это история! Все как было дело! Только не взыщи, брат, за правописание, не сам писал. У меня этот Митрофан Иваныч дело изложить молодец, а в правописании, так сказать, своеобразен. Я заметил, что слово «на лошади» он в одной бумаге и пишет «на лошади», а в другой – «на лошаде». Спрашиваю его: отчего так? А он говорить: «на лошади» – так это представляется как бы верхом, а «на лошаде» – так в санях, либо в телеге. Ну, да дело не в том, а каков актик-от-с? – прибавил исправник, потирая от самоудовольствия руки.

– Актик-то очень хорош, – сказал я, – только отчего вы не распорядились послать за Ивановым?

– Да когда же, братец? Ведь когда услышали твои колокольчики, так только что акт дописывали. Теперь твое дело.

– С вашей стороны, поручик, – обратился я к подпоручику Икре, – не будет препятствий в случае, если я распоряжусь о взятии Иванова?

– Почему препятствия? Нет.

– Так я буду просить полицейское управление послать кого-нибудь взять Иванова, – сказал я исправнику.

Тут мы согласились о способе взятия Иванова. Исправник отправился с целью распорядиться об этом. Начальник команды остался у меня в качестве депутата со стороны прикосновенных к делу солдат, за которыми он и послал.

Между тем, я приступил к допросам приведенных ко мне арестанток. Старая Крючиха упорно уклонялась от дачи определенных и ясных показаний. Напротив, Паточка была очень словоохотлива. Не столь опытная, как мать, она слишком много доверяла своей изворотливости и хитрости. Несмотря на то, и от нее я не успел узнать ничего важного. Написанное в акте дознания она дополнила только тем, что после побоев, нанесенных ей мужем, она ушла в чуланчик на чердак, почему и не может знать, что происходило без нее внизу. Она сообщила мне также, что ели они и гости их на имянинах матери. В числе блюд были сморчки. Впрочем, допросы эти я сделал лишь для формы, так

как не успел еще сообразить всех обстоятельств дела, и, притом, не имел понятия о месте происшествия.

Я послал за лекарем для вскрытия трупа. Между тем, явились старший унтер-офицер Клеопатров и ефрейтор Чаплин. Я потребовал к допросу первого. Это был бравый, весьма высокого роста человек, с открытым и добродушным лицом, выражавшим страшные душевные страдания. Войдя, он тотчас же упал на колени.

– Ваше высокоблагородие, пощадите! Двадцать лет верой и правдой прослужил государю... Начальство меня знает и любит, вся команда мной довольна... Спросите обо мне малого ребенка... да что ребенка!.. Спросите щенка любого: кому я что сделал? Я недавно женился.... может быть, скоро ребенок будет... Пощадите, в. в.!

Несчастный зарыдал, ловя ноги мои и своего начальника, чтобы поцеловать. Видал я убийц, чувствовавших угрызения совести; но страдания тех были другого рода, и иначе выражались. Мы с начальником команды не могли удержаться от слез. Наконец, уверения мои, что если он невинен, то ему нечего беспокоиться, и заявление подпоручика, что он сейчас готов письменно удостоверить в невинности его и что вся команда подпишет бумагу, привели беднягу, по крайней мере, в такое состояние, что он получил возможность объясняться.

– Расскажи, что знаешь.

– Да что я расскажу, в. в? То же, что и все тут говорят. Созвал нас с Чаплиным к этой Крючихе Иванов. Пришли мы; выпили все вместе с коновалом и с Крючихой – Патка не пила – два полштофа. Коновал привязался к Патке и стал ее бить немилосердо. После того коновал ушел спать в заднюю горницу; мы с Чаплиным пошли в сборную, а Иванов остался... залез на печь спать.

– Не был ли ты выпивши? Может быть, и не помнишь чего-нибудь?

– Как не помнить, в. в! Выпили мы, да что же – штоф на пятерых! Ну, коновал – тот раньше заправился, а мы пришли, хоть бы росинка в роте была! Спросите хоть не нас, а всю команду: мы оттуда прямо в сборную пришли. Это-то

меня и убивает, в. в.: из всех сказок видно, что коновал убит, и как будто при нас... шум был... А не виноват я. Хоть расстреливайте, – то же скажу. Не виноват и Чаплин: мы вместе ушли...

– А Иванов?

– Не подозреваю я и Иванова. Сохрани меня Господи!.. Я по себе сужу... а только он от нас с Чаплиным там остался. Иванов честный, добрый человек... прямик! Вот и их благородие, господин подпоручик, и вся команда скажут, каков человек Иванов: этот человек, в. в., либо правду скажет, а не то, так промолчит – и слова из него топором не вырубишь! Спросите его самого: если он виноват, так не запрется... не такой человек!..

После Клеопатрова я призвал Чаплина. Это тоже был солдат видный, с внушающею доверие физиономиею. Хотя при входе он тоже упал на колени, но не рыдал, и только слезы навернулись у него на глазах. Перекрестившись, он проговорил: «Буди воля твоя, Господи, на мне грешном! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его»!

– Ну, что же ты скажешь о деле?

– Да по всему кажется, что мы, а только не мы с Клеопатровым.

– А Иванов?

– И Иванов добрый человек! Только он от нас остался. – Виноват, в. б., обратился он к подпоручику. – ...Шум был, только не мы начинали... и не были пьяны: мы только Патку от коновала отняли.

– Подозреваешь или нет Иванова?

– Нельзя подозревать, в. в.! Этот человек малого ребенка не обидит... честный; добрый человек! Не возьму я на душу греха подозревать его. Только он от нас остался, так, может быть, и знает что... Он не соврет... извольте его допросить: скорее я совру, а он не соврет. Ума не приложу, в. в.: как будто наше дело, а только не мы... Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!

Не вдаваясь в подробные допросы, я поспешил осмотреть место происшествия.

Домик Крючихи состоял из двух небольших комнат сажен в пять квадратных каждая. Они отделялись одна от другой узенькими сенцами, из которых был ход на чердак. В передней комнате, имевшей окна на улицу, Крючиха принимала в имянины гостей, а в заднюю, по единогласным показаниям Крючихи, Паточки, Клеопатрова и Чаплина, ушел коновал спать, после того как прибил жену. Ни в той, ни в другой, ни на чердаке, ни в подпольях ничего подозрительного не оказалось.

При вскрытии трупа оказалось, что хотя рана на шее сама по себе смертельна, но, кроме того, расколот череп. В желудке найдены сморчки. Он издавал сивушный запах, но следов отравы в нем не было.

Покончив эти следственные действия, я возвратился домой, чтобы облечь их в форму и распорядиться о так называемых мерах к пресечению обвиняемым способов уклоняться от следствия и суда, или, говоря проще, решить, кого из них посадить в тюрьму, кого отдать на поруки и кого оставить вовсе на свободе. Я написал постановление о заключении Крючихи с дочерью в тюрьму и об отдаче на поруки Клеопатрова и Чаплина начальнику команды, который настоятельно просил меня об этом и чего я сам душевно желал. Оно произвело различные впечатления на лиц, которых касалось. Крючиха выслушала его, как камень, если бы камни имели способность слышать и в то же время не чувствовать; Паточке оно доставило удовольствие: она слушала его, я теперь уверен, с неподдельным удовольствием; Клеопатров опять упал на колени, зарыдал и рассыпался самыми наивными выражениями благодарности; Чаплин, явно просветлевший, опять пробормотал: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!»

На следующий день в указные девять часов привели ко мне арестантов и пришел начальник команды. Крючиха казалась такою же, как и всегда; Паточка тоже: она весело улыбалась, но на лице ее заметны были следы бессонницы. Ей, по-видимому, нравился арестантский костюм, в который с чего-то одело ее тюремное начальство; ей нравился звук ружей, опускаемых конвойными солдатами на

пол. Я приступил к допросам, и начал с старой Крючихи. Как и накануне, она уклонилась от прямых ответов, и лишь одним, тоже уклончивым объяснением, дополнила прежние показания: на доводы мои, что зять ее убит если не в ее доме, то очень близко, она отвечала:

– Не знаю я, – пьяна была, так спать легла.

– Где спала?

– На печи, надо быть.

– Да там, говорят, Иванов спал?

– Не знаю.... пьяна была.

Паточка, как и следовало ожидать, оказалась словоохотливее матери. Она ночью обдумала, что говорить ей на следующий день.

– Вы раньше показали, – начал я допрос, – что ваш муж, на другой день после имянин вашей матери, рано утром ушел по волостям.

– Нет-с....

– Как же нет? Вы к исправнику и ко мне приходили с заявлениями об этом....

– Так точно-с: я приходила... только я тогда не знала...

– Чего не знали?

– А что он тут найдется.

– Как же не знали? Это так близко от вас... иначе это непонятно. Зачем вы и исправнику, не один раз, и мне объясняли, что он ушел?

– Да я вижу, что поутру его нет.... ну и вещей его нет, так и подумала, что он ушел, а там...

– Теперь вы видите, что не там, а здесь!

– Точно так-с.

– Значит, не уходил?

– Значит, нет-с.

– Вы видели, что он найден в том платье, в каком ходят дома?

– Точно так-с! Только без пояса. Да где же прочее-то платье? И пояса на нем нет!

– Это обстоятельство не очень важное; притом, согласитесь сами, что поясу нельзя остаться на человеке, который перерезан пополам?

– Точно так-с! только опять как же инструмент пропал?

– Убийца мог забросить куда-нибудь для доказательства того, что вы раньше говорили, т. е. что он ушел из дома.

– Это может быть-с. Видно, уж этому человеку не в первый раз такие дела делать, – знает как!

– Нет, почему же? Для этого не нужно особенной опытности и много хитрости.

– Нет, мне так этого не выдумать, – заметила Паточка, улыбаясь.

– Потом опять вы видели, что в желудке вашего мужа найдена та самая пища, которую вы ели на имянинах вашей матери.

– Нет-с, не видала... страшно было смотреть.

– Все равно, другие видели. Это записано в акте и протоколе вскрытия. Хотите, я прочту?

– Нет-с, я верю.

– Согласитесь, что, судя по платью, он должен быть убит дома.

– Точно так-с; только это, может быть, нарочно подделано, чтобы подумали на нас.

– Это мудрено. Но я согласился бы с вами, только согласитесь и вы, что сморчки-то нельзя подделать.

Паточка задумалась.

– Теперь я и сама вижу, что мудрено... Как же так? – как будто сама себя спросила Паточка.

– Это еще не все. Вы ведь в тот день не пьяны были?

– Нет-с. Я никогда вина не пью; да не люблю, как и другие-то пьют. Вот и мужа-то когда я укладывала спать, так хоть и муж, а такой противный показался... Лучше бы я с самым последним ссыльным...

– Ну, вот видите! А раньше вы говорили, что после того, как вас прибил муж, ушли на чердак в чуланчик.

– Точно так. Мне совестно было сказать, что я с мужем... т. е. его укладывала спать. Это точно так; а потом и ушла в чуланчик-с.

– Что же вы в чуланчике делали?

– Да что делать? Плакала.

– И не выходили оттуда все время, пока были у вас гости?

– Нет-с... не выходила.

– Смотрите: вы уж не один раз давали неточные ответы на мои вопросы; а это не служит в вашу пользу. Что, если гости ваши скажут, что вы выходили к ним?

– Это точно так-с: может быть, и выходила за чем на минутку-с; только с ними не сидела... я ведь вина не пью-с, так что мне с ними сидеть в этаком расстройстве?..

– Это более, нежели вероятно. Но после того, как гости ушли, вам уж не было надобности отсиживаться в чуланчике.

– Точно так-с. Только выйду, загляну в заднюю горницу потихоньку, а как вижу, что муж лежит... спит, и затворю дверь опять потихоньку; думаю: ну, слава Богу, хоть проспится... А в переднюю нельзя: там маменька с Терентьем Ивановичем спала... А потом я и сама легла спать. Встала поутру; вижу – нет! Ну, думаю, ушел, Бог с ним!.. Вот и все-с.

– Нет, позвольте, еще не все. – Как же можно, чтобы муж ваш ушел, не сказавшись ни вам, ни вашей матери? Так долго спавши, согласитесь, он не мог уйти, например, не закусивши?

– А я думала... кто его знает!

– Но вы согласитесь, что он убит у вас в доме и вытащен за огород, потому что подкидывать разрезанный труп чуть не к самому дому неудобно: на это никто не может решиться.

– Да ведь...

– Нет, позвольте мне досказать. Вы говорите, что видели, как он день спал в задней комнате; след. мог уйти только ночью. Но куда же он мог пойти ночью?

– Да ведь Господь его знает-с!

– Но денег у него не было?

– Не было-с.

– К этому времени он, конечно, проспался?

– Как не проспаться-с!

– След. драки сочинить не мог, да ночью и не с кем?

– Точно так-с.

– Ну, так как же?

– А вот что, в. в., не притащили ли его как-нибудь после?

– Я уж сказал вам, что это было бы чересчур рискованное дело.

– Да ведь как знать-с!.. Найдутся отчаянные!

– А сморчки-то?

– Да-с, это точно... Позвольте мне, в. в., подумать.

– Очень хорошо-с. Не угодно ли присесть, а мы с поручиком удалимся.

– Знаете ли что? – сказал мне Икра. – Ведь исправник сам поехал за Ивановым... отличиться хочет!.. а Иванов не виноват тут: это отличный солдат... я ручаюсь.

– А вот посмотрим.

– Да чего смотреть? Ведь уж я знаю команду, как свои пять пальцев. Сами увидите: его скоро привезут, если не разъедутся, потому что он должен быть на обратном пути от Ш... близко отсюда... Этот человек не солжет.

Тут подпоручик рассказал мне несколько анекдотов об Иванове, доказывающих, что он никогда не лжет, и в случаях, когда, чтобы не повредить товарищам, правды нельзя высказать, то всегда берет вину на себя, вследствие чего и не произведен до сих пор в унтер-офицеры.

Потом мы отправились к Паточке.

– Что же вы надумали? – спроси я ее.

– Да Иванов убил-с: больше некому, – отвечала она.

– Вы можете доказать это?

– Как не доказать-с!

В это время вошел рассыльный полицейского управления, весь в пыли.

– Здраю желаю, в. в.! – выкрикнул он. – От их высокоблагородия к в. в. с пакетом-с.... Иванова привезли-с!

Рассыльный вынул из-за обшлага пакет и подал мне.

– Побудь с Ивановым в другой комнате, пока я прочитаю бумагу.

– Слушаю-с, в. в., – отвечал рассыльный, повертываясь налево кругом на каблуке.

Мы ушли с Икрой в другую комнату, где я вскрыл пакет исправника и прочитал:

«Вследствие личных объяснений с вашим высокоблагородием, я счел нужным лично отправиться для поимки рядового Терентия Иванова, дабы не допустить каких-либо в сем деле упущений. Затем, прибыв на Луневскую станцию и, собирая под рукой сведения, я дознал, что Иванов находится здесь, почему, взяв понятых, я отправился в занимаемую квартиру, где застал Иванова спящим. Сделав же тщательный осмотр, я нашел шинель Иванова мокрою и на ней кровавые пятна, в чем он, уступая моим убеждениям, и сознался, раскаиваясь в содеянном им преступлении. Донося, вместе с сим, о таком происшествии господину начальнику губернии, я имею честь препроводить при сем к вашему высокоблагородию рядового Терентия Иванова и вышеупомянутую шинель его, покорнейше прося о получении их меня уведомить».

– Так вот какая история! – сказал я подпоручику.

Тот пожал эполетами.

– Позвольте мне переговорить с Ивановым... один на один.

– Нет, извините, этого нельзя. А вот лучше допросим его формально.

Выслав Паточку, я велел позвать Иванова. В наружности последнего не было ничего особенного. Развернув переданную мне рассыльным шинель, я нашел на ней кровавое пятно, очень полинявшее.

– Ну вот, ты сознался, – сказал я ему; – но этого мало: мне нужно подробное показание. Ты должен обнаружить своих соучастников.

– В чем же я сознался, в. в.?

– Как в чем?

– Точно так-с. Я ни в чем не сознался.

– Как же исправник пишет, что ты сознался в убийстве коновала Шерстяникова?

– Никак нет-с.

– Да ведь это в бумаге вот написано.

– Никакой я бумаги не подписывал.

– Ну, все равно говорил.

Я прочитал ему отношение исправника.

– Неправда! Я не сознавался.

Иванов сильно меня озадачил. Мы вышли с подпоручиком в другую комнату.

– Ну, не прав ли я? – сказал подпоручик.

– Да как же, ведь не басню же написал исправник в официальной бумаге?

– Да ведь вы его не первый день знаете: отличиться захотел! Видите, он уж и губернатору донес, что открыл преступление....

Мы послали за исправником, который и не замедлил явиться.

– Ну, вот ты, составитель актов. Иванов-то запирается! Отчего не составил акта? – обратился я к нему.

– Да когда, братец, было! Да как так?

– А вот посмотри.

Мы вышли в комнату, где находился Иванов.

– Как же, братец, ты запираешься? – обратился к Иванову исправник.

– Никак нет-с, – ответил Иванов.

– А это что? – спросил его исправник, развертывая шинель.

– Шинель № 2-й-с, в. б.

– Отчего она мокрая?

– Была мокрая.

– Отчего?

– А лес Василья Афанасьевича под Копалихой выгружали, так и намокла.

– Отчего же ты раньше мне этого не говорил?

– Спрашивать не изволили, в. в.

– А это что? – спросил исправник Иванова, указывая на кровавое пятно на шинели.

– Кровь, в. в.

– Отчего она?

– А волков свежу, так....

– Что же ты прежде этого мне не говорил?

– Спрашивать не изволили-с, в. в.

– Ты врешь!

– Никак нет-с, в. в. На то видоки есть.

– Это ты теперь выдумал.

– Никак нет-с.

– Позвольте, господа, – вмешался подпоручик Икра. – Это шинель № 2-й; значит, Иванов не мог быть в ней на имянинах: в старых шинелях в гости не ходят. Так ли, Иванов?

– Точно так, в. б.

– Зачем же ты взял ее с собой в дорогу, когда при тебе была другая? – спросил Иванова исправник.

– Точно так, в. в.! В этой дорогу шел, а № 1-й взял, чтобы в Ш. по начальству явиться.

– Это правда, – заметил подпоручик, самодовольно улыбаясь.

– Вы выходите из прав депутата, – заметил исправник подпоручику.

– Господин следователь не находит этого. Меня закон обязывает защищать солдата.

– Защищать-с, но не подстрекать.

– Господин следователь, не угодно ли вам составить акт, подстрекаю ли я Иванова. Я донесу начальству о вмешательстве г. исправника.

– А я донесу губернатору о поступках ваших.

Тут произошла между исправником и начальником команды довольно продолжительная и крупная сцена, кончившаяся тем, что оба они решились донести друг на друга по начальству, и оба хотели уйти; но подпоручика Икру я удержал.

Я приступил к формальному допросу Иванова.

– Все-таки говорят, что ты убил коновала, – сказал я ему.

– Кто говорит? – спросил он в свою очередь.

– Например, жена его Клеопатра.

– Патка? Пусть она при мне скажет!

Я велел позвать Паточку. Ту привели.

– Вы сейчас говорили, что подозреваете Иванова в убийстве вашего мужа, – спросил я ее.

– Так точно-с. Кроме вас, Терентий Иванович, некому! – обратилась она к Иванову.

– Как некому? – спросил Иванов, прислоняясь богатырским плечом к косяку двери, вопреки субординации.

– Солдат! Ты не умеешь держать себя перед начальством, – заметил ему подпоручик.

– Виноват, в. б.! – ответил, выпрямляясь, Иванов. – Это оттого, что не след бы ей этого говорить.

– Да ведь как же, Терентий Иванович, – отозвалась Паточка: – кроме вас некому.... это я к тому примерно сказала...

– А кровь-то кто выносил.... примерно?.. – брякнул Иванов.

Как иглой уколол Паточку этот вопрос Иванова, на который она, как видно, не рассчитывала.

– Значит, я, – отвечала она.

Иванов опять оперся плечом на косяк, и начальник его уже не сделал ему замечания.

– Где же эта кровь? – спросил я.

– Пусть она покажет, – хладнокровно сказал Иванов, указывая на Паточку: – она знает.

– Я, значит, не знаю, Терентий Иванович, – возразила Паточка.

– Врешь, – хладнокровно сказал Иванов, отворачиваясь от нее.

– То есть, в. в., я точно выносила, а только не я убила мужа, – где мне!

Ларчик начал открываться. Мы отправились на место. В понятых не было надобности, так как полгорода сопровождало нас. Пришли на место.

– Где же искать кровь? – спросил я, обращаясь к Иванову и Паточке.

Они указали место на дворе близ стены маленького сарайчика, где земля казалась несколько разрыхленною. Стали рыть, но долго не могли ничего выкопать. Наконец Иванов сам взял заступ и скоро показались два огромных куска спекшейся крови.

– А зобенька* где? – спросил Иванов Паточку.

– А значит, я в печи сожгла, – ответила Паточка.

На место пришел исправник, и, видя наше открытие, спросил подпоручика насмешливо:

– Кажется, кровь нашли?

– Кровь, да не на шинели, – отвечал тот.

Мы отправились ко мне, чтобы составить акт о находке и снять новые допросы с обвиняемых. Так как к дому Крючихи собралась огромная толпа любопытных, то, чтобы избавить обвиняемых от неприятных для них, как мне казалось, наблюдений и публичности, я предложил идти не городом, а кратчайшим путем по задам; но Паточка стала упрашивать, чтобы ее провели улицами. Она, видимо, осталась довольна, когда некоторые из моих знакомых барынь попросили позволения находиться при допросах, на что и получили согласие. Я приступил к допросу Иванова, предполагая, что теперь он будет словоохотливее, но ошибся.

– Расскажи же теперь, как было все дело, по порядку! – сказал я ему.

– Пусть сперва оне расскажут, – отвечал он, разумея под словами «они» Паточку с матерью.

Делать нечего: я позвал Паточку, и прежде всего обратился к ней с убеждением, чтобы она говорила сущую правду, так как при том обороте дела, какой оно приняло, всякое запирательство повлечет усиление меры взыскания. Паточка, рисуясь перед посторонними свидетельницами, сказала:

– Точно так-с! Я теперь сама вижу, что вертеться нечего. Я ведь и раньше все рассказала бы, только все как-то-с.... Исправник Егор Иванович поначалу очень напугал-с: говорят, за этакое дело, т. е. что человека пополам перерезали, и трех смертей мало... так, хоть и не я его резала, а все страшно... на меня бы не подумали!

– Ну, так как же дело было?

---

* Корзинка.

– Значить, вот как было дело-с, – начала она, играя босой ножкой со скинутым с нее арестантским котом. – После того, как покойничек избил меня... А избил он меня жестоко.... и теперь еще по всему телу желтые пятна от синяков остаются... Не угодно ли, в. в., освидетельствовать меня?

Отклонив такое предложение, я попросил ее продолжать.

– После этого, я уж вам сказывала, я уложила его спать... Так он противен мне показался! Как уснул он, я и выхожу, а в сенях повстречался мне этот Иванов-с. Вот-с я и говорю ему: «Терентий Иванович! Скоро ли избавит меня Царица Небесная от этого мучителя»? А он говорит: «Хочешь, я избавлю?» Я говорю: «Ради Бога, избавьте!» А того я не понимаю, что он хочет делать, и еще сказала: «Я сама вам сослужу чем-нибудь за это...»

При последних словах Паточка не могла не улыбнуться, хотя и старалась казаться расстроенною.

– Только он вошел в заднюю горницу, т. е. где спал покойничек. Я не знаю, что он там делал. Вот он выходит и говорит мне: «Иди, убирай!» Я вхожу и вижу: муж убит. Что делать? Сам Терентий Иванович в переднюю горницу к гостям ушел, а я осталась одна. Прийти к ним и сказать – беда! Боюсь: думаю, на меня скажут. Было у нас в печке горячей воды; я потихоньку взяла, да и захватила кровьто: в щель в подполье спустила. А из него все сочится. Вот вижу, Яков Алексеевич... старший то есть, и Илья Ильич ушли, а Терентий Иванович на печь лег спать-с.... Я рассказала все маменьке. «Не объявить ли»? говорю. «Что ты, в уме ли? говорит: этакое дело объявлять! И нас-то с тобой в каторгу сошлют». Так я и сдалась на эти слова. Вот стали мы Терентия Ивановича будить; насилу растолкали.

– Пьян, что ли, он был?

– Нет-с; разве немного: он ведь крепок, и очень никогда не напивается.

– Раньше вы сказали, что не входили в переднюю комнату, потому что там Иванов с вашей матерью спал.

– Нет-с, это я так сказала: виновата-с! Не хотелось мне на них говорить: ведь он мне то же, что и отец-с. А ма-

менька уж после к нему прилегла, как приубрали. День еще белый был; из дому вынести нельзя; а маменька с утра ухлопоталась, да и выпивши была, так тоже отдохнуть захотела.

– Ну что ж, Иванов встал, как вы его растолкали?

– Нет-с: мне, говорит, что за дело? Прячьте, как знаете! И опять уснул. Так мы и отступились! Пришли в заднюю горницу, где покойничек лежал-с. Маменька посмотрела, нет ли чего в жилетке, в карманах. Мы открыли подполье; только насилу вдвоем-то могли его, покойничка, спустить туда... велик он и тяжел был – сами видели, в. в.! Потом я опять замывать стала; а маменьке нечего делать, так она уж тогда к Ивану Терентьевичу пошла. Вот уж, замыла я, а времени все еще мало! Я прибралась, да и пошла по соседям, значит, чтобы виду не показать. Как стало смеркаться, я прихожу домой, а они все еще спят. Только добудилась я: «Что же, говорю, Терентий Иванович, как быть?» А он говорит: «Как хочешь, так и будь». Тут и маменька стала докучать ему. «Успеете, говорит, не убежит. А мне еще нужно в сборную сходить». Так и ушел, и не сказал, придет или нет.

Тут Паточка остановилась. Подождав немного продолжения рассказа, я предложил ей окончить его.

– Да тут уж я и не понимаю, как случилось... оттого-то, в. в., я и думаю.... без меня дело было-с.

– Как это без вас?

– Значит, я взяла мужнин инструмент, чуйку, шапку и все, и пошла на реку, утопить то есть; значит, чтобы знаку не было. А как пришла, так у них все уж убрано...

– А как же вы сами сказали, что выносили кровь?

– Значит, я пришла, а Терентий Иванович тут сидит. Я спрашиваю: «Убрали ли»? А они говорят: «Поди кровь-то вынеси!» Я взяла зобеньку, да и вытаскала.

– А яму кто рыл?

– Терентий Иванович, надобно быть. Я спросила, значит: «Куда убирать»? А они мне и указали готовую.

– Да как же они успели вырыть три ямы, разрезать труп, вытаскать его по частям и потом зарыть, пока вы на реку ходили? Река ведь не так далеко!..

– Значит, я в обход, все лесом шла, чтобы кто не увидел... с остановками. Я пришла, а маменька уж козлуху доит.

– Где вы утопили вещи?

Паточка подробно описала место и рассказала, где и как шла. Действительно, расстояние было значительное; но, несмотря на то, трудно было предположить, чтобы в отсутствие ее Иванов, даже при помощи Крючихи, мог успеть упрятать труп коновала.

Вместо Паточки я позвал Иванова.

– Вот, – сказал я ему, – Клеопатра все рассказала.

– Что она рассказала? – спросил Иванов.

– Что бы ни рассказала, а ты должен мне отвечать на мои вопросы, иначе ты ответишь за упорство, да кроме того все, что она сказала против тебя, будет признано справедливым.

Начальник команды, чтобы заставить Иванова говорить, к моим убеждениям присовокупил свои.

– Да что же мне говорить-то, в. б.? – сказал Иванов подпоручику: –ведь я не запираюсь, что я убил: только крови на мне не было.

– Как же ты его убил? Расскажи подробно, – спросил я его.

– Да как убил?.. Взял, да и убил.

– Что же, он враг тебе был, или из-за денег?

– Кто это говорит из-за денег? – спросил Иванов, выпрямляясь.

– Никто этого не говорит, а только я тебя спрашиваю, чтобы узнать, для чего ты это сделал: ведь нельзя же – убить человека без причины.

– Разве это человек был?

– А то что же?

– Он и собаки не стоил.

– Поэтому ты и убил?

– Нет, я и собак не бью.

– Так за что же?

– Спросите у Патки: она знает.

– Она уж допрошена об этом.

– Пусть еще при мне скажет.

Депутат Иванова стал настаивать на исполнении такого требования его, и я согласился, не видя от того вреда для существа дела. Допрос Иванова я обратил в очную ставку его с Паточкой, которую и велел позвать.

– Вот она показала, – сказал я Иванову, – что после того, как муж ее при всех вас прибил, она уложила его спать в задней горнице. Выходя оттуда, она встретила тебя в сенях и сказала: «Скоро ли Бог избавит ее от этого мучителя, т. е. мужа». А ты сказал: «Хочешь, я избавлю»? Она на это ответила: «Ради Бога, избавьте... я сама сослужу вам чем-нибудь за это». Сама же она, говоря это, не предполагала, что ты убьешь ее мужа. – Так ли, Клеопатра Шерстяникова?

– Точно так-с, в. в., – ответила Паточка.

– Ты что на это скажешь? – спросил я Иванова.

– Врет! – сказал тот.

– Как же, Терентий Иванович? – спросила Паточка.

– А так: врешь! А кто мне топор подал? – спросил Иванов, отворачиваясь к косяку,

– Топор, значит, я подала.

– А, значит, кто держал дверь, как я рубил?

– Я, значит, Терентий Иванович.

– Не знала ты!! – промычал Иванов.

– Правда ли, что ты убил Шерстяникова еще в то время, когда Клеопатров и Чаплин в передней комнате сидели?

– Правда, только они ничего не знают.

– Правда ли, что ты, убивши Шерстяникова, пошел спать?

– Правда.

– И уснул?

– Уснул.

– Правда ли, что Клеопатра с матерью тебя будили, чтобы убрать труп, но ты не хотел встать?

– Правда.

– Почему же?

– А мне что?

– Ты не желал скрыть следы преступления?

– Да ведь и в каторге те же люди живут.

– Правда ли, что Клеопатра тебя разбудила вечером и вместе с матерью уговаривала тебя убрать труп, но ты ушел в сборную, не сказавши, придешь опять или нет?

– Это правда.

– Правда ли, что на другой день рано утром приготовил яму для крови?

– Врет.

– Что вы на это скажете? – спросил я Паточку.

– Нет, уж это, значит, вы, Терентий Иванович, – сказала она. – Вы мне, значит, яму указали.

– Ах ты!.. Да ты сама мне показывала; только на третий день, а на второй я и не был у вас.

– Были, значит.

– Перестань врать!.. Всей команде больше поверят, чем тебе.

– Да ведь команды тут не было?

– Я был в команде.

– Да кроме вас некому: где нам вытащить этакую ношу!

Иванов зло улыбнулся.

– Для чего же бы я стал над покойником издеваться... разрезывать, да не отнести дальше... а то под носом у себя?

– Значит, тяжело-с.

– Тяжело! А не тяжело мне из подвала 9-пудовые кули на себе таскать?

– Нет, значит, тяжело.

Иванов замолчал.

– Так кто же, по твоему мнению, вырыл ямы, разрезал труп и вытащил его? – спросил я.

– Я не видал. Спросите у них. Они показывали, так знают.

– Кто они?

– Она с матерью, – отвечал Иванов, указывая на Паточку.

– Это неправда, Терентий Иванович!.. Может, вы ошиблись: может, вам маменька только говорила...

– Обе вы говорили. Да что ты вертишься? Когда ты инструмент утопила?

– Значит, ночью, на который день вы покойничка зарубили.

– Значит, врешь.

– Значит, на другую ночь.

– То-то. А первую что делали? Смотри, соври опять, так...

– Это точно; только, Терентий Иванович, я не резала.

– Я и не говорю, что ты. Только зачем на меня врать? Ведь я на вас не вру, чего не было.

– Мне маменьки было жаль.

Иванов на это не возражал, хотя, мне казалось, и мог бы. Пользуясь тем, что у него немного развязался язык, я спросил:

– Скажи пожалуйста, как ты его зарубил?

– Сперва по шее ударил раза два или три, а потом обухом по голове один раз.

– Зачем же еще по голове? Ведь, кажется, и по шее было довольно.

– Осерчал.

– За что?

– А зачем он Патку без причины тиранит.... А она на меня же все сваливает.

После этого я велел увести Иванова и Паточку и привести Крючиху. От этой женщины и на этот раз не мог добиться никаких ответов. Составив постановление о явном упорстве ее, я позвал Иванова, чтобы попытаться добиться чего-нибудь с помощью очной ставки. Очная ставка вышла очень лаконична. Крючиха не произнесла ни одного слова, кроме «не знаю и «не помню»; Иванов же твердил «врешь», легко, но постоянно возвышая голос. Только по двум пунктам он от себя сделал Крючихе два вопроса: во-первых, на отрицательный ответ ее на спрос: разрезывала ли она труп? Иванов заметил: «надо поискать ножа»; и во-вторых, на такой же ответ на спрос: выносила ли она труп, спросил: «А кто обрубил концы жердья в огороде»?

Такие замечания вынудили меня снова сделать выемку в доме Крючихи и осмотр места. Из всех найденных в доме ножей, Иванов не признал ни одного за тот, которым был разрезан труп.

– Не утопила ли ты вместе с инструментом? – спросил он Наточку.

– Нет, Терентий Иванович: его куда-то маменька задевала.

Концы жердей, составлявших одно прясло огорода, оказались действительно обрубленными, именно там, где пересекала его тропинка, ведущая от дома к тому месту, на котором найден труп.

День начинал клониться к вечеру, и я закончил следственные действия, составив постановление о заключении Иванова в тюремный замок и сделав предварительные распоряжения на следующий день.

Утром явилась ко мне огромная толпа солдат и соседей Крючихи, и я сделал об обвиняемых большой повальный обыск. – Обыскные люди о Крючихе отозвались, что хотя она и промышляет нищенством, разъезжая для этого по уезду на наемных лошадях, и не может похвалиться соответствующим ее летам целомудрием; но особенно дурных поступков за ней не замечено. О Паточке получен еще лучший отзыв: ее не совсем целомудренное поведение соседи оправдывали дурным воспитанием, бедностию и выдачею замуж против воли, за грубого мужа-разбойника, от которого ей житья не было. Отзыв же об Иванове был решительно в его пользу. Все солдаты единогласно показали, что это человек безукоризненной честности, никогда не изменявший своему слову и никогда не солгавший; что он много раз, не желая сделать вред товарищу, и в то же время солгать пред начальством, упорно молчал при расспросах и, без вины, равнодушно принимал наказания; что он всегда был незлобив, но его возмущала всякая несправедливость в отношении к слабым, на помощь которым он всегда являлся, если была к тому какая-нибудь возможность; что он не мог выносить, когда кто говорил ложь в

глаза. Точно так же все солдаты единогласно удостоверили, что он обладает необыкновенной физической силой; а некоторые сказали, что он в тот вечер, когда убили Шерстяникова, пришел в сборную и не отлучался ни ночью, ни в следующий день. Все эти отзывы были высказаны не в общих, заказных, как это бывает при повальных обысках, выражениях, а подтверждались указаниями на факты и сквозили неподдельным чувством.

Не скоро я кончил повальный обыск и облек его в форму. Ко мне стала собираться вчерашняя публика, чтобы узнать исход всех интересовавшего следствия. Между тем привели Крючиху и вслед за ней явилась Паточка, которую брал с собой непременный заседатель полицейского управления, производивший, по моему требованию, поиски утопленных Паточкою вещей мужа ее. Оказалось, что инструментов отыскать нельзя, так как они брошены в самое глубокое место чрезвычайно быстрой, с песчаным и непостоянным дном реки, и, без сомнения, замыты уже глубоко. Но найдена фуражка, которая, попавши на воду дном, поплыла и остановилась на отмели. Она признана принадлежащею покойному.

Мне осталось, для округления дела, дать очную ставку Паточке с матерью ее. На этой очной ставке Паточка обнаружила замечательные сценические способности. Ей хотелось порисоваться перед публикой. Она упала перед матерью на колени и, заливаясь слезами, стала умолять ее о сознании:

– Не запирайся, матушка! Не губи свое милое детище и т. д.

Драматический монолог глубоко тронул публику: барыни навзрыд плакали. Даже холодная Крючиха, по-видимому, уступила мольбам дочери, которая в эту минуту казалась истинно прекрасной грешницей: ни одной тривиальной фразой не испортила она своего монолога. Крючиха сказала:

– Ну, что делать: сознаюся я.

– Спасибо тебе, моя голубушка! – сказала Паточка, бросаясь на шею матери.

Сейчас же на лице ее расцвела веселая улыбка. Но Крючиха продолжала оставаться холодною, и больше не проронила ни одного слова.

Арестанток увели. Публика стала расходиться, обвиняя во всем Крючиху и жалея бедную Паточку. Многие пожалели Шерстяникова и никто – Иванова!

Как водится, я представил дело в уголовную палату, а копию с него начальник команды отослал в военно-судную комиссию.

Пока дело ходило по инстанциям, мне не раз приходилось бывать в остроге. Каждый раз я осведомлялся о Паточке и каждый раз заставал ее в веселом расположении духа: в каморе своей она резвилась, как беззаботная птичка в клетке.

В остроге она родила недоноска, прижитого уже в заключении. На это обстоятельство никто не обратил внимания, да и к чему?

Наконец вышло окончательное решение. Паточка приговорена в каторжную работу на восемь лет. По счастию ее, ко времени приведения в исполнение решения, отменены были телесные наказания, и она весело взошла на эшафот. – Не думаю, чтобы она очень внимала словам священника, потому что постоянно кивала головкой то тому, то другому из зрителей. В то время, когда читали приговор, она показала мне мимически, будто курит, конечно, намекая на то, что во время следствия я иногда давал ей папиросы.

В то же время, на публичной площади другого города, исполнялся такой же точно приговор над Ивановым. Я уверен, что, сохраняя свою всегдашнюю флегму, равнодушно смотрел он на публику, быть может, презирая ее; но не думаю, чтобы кто-нибудь из окружавшей его, чуждой ему толпы выразил ему сочувствие. Да и нуждался ли в этом сочувствии тот, который и в каторге думал встретить таких же людей?

Найдет ли он там таких людей, как сам он? Вот вопрос!

III.

НЕЖНЫЙ ОТЕЦ И ПРОСУЖИЙ БРАТОУБИЙЦА

Сенокос – самое не сенокосное время для судебного следователя, да и для всякого другого чиновника, имеющего дела в уезде. Эта истина особенно дает себя чувствовать в наших северных губерниях, где тридцативерстный волок*, разделяющий две деревни, не считается еще больно великим, где сенокосы отстоят от селений на целые десятки верст, иногда многие. Приезжаешь в деревню; ямщик подвозит к обывательской, если таковая полагается, а если ее нет, что, впрочем, редко случается в краю, где так редки населенные местности, то к десятнику. Да и десятника-то как найдешь?.. Дома старый да малый.

– Чья ноне неделя-то, бабушка Агафья? – спросит ямщик у высунувшейся в окно старухи.

– А без большаков-то уж и не знаю, дитятко.

– А далеко ли большаки-то?

– А в сузем, нони за третью Погорелицу ушли.

– Эк их! – скажет ямщик, недоумевая, что ему делать.

Между тем все, что есть в деревне живого, окружает повозку, – пузатые ребятишки в засаленных холщовых рубашонках и тощие собаки; только равнодушные свиньи продолжают нежиться в грязных лужах. «Далеко ли у тебя отец?» – спросишь какого-нибудь мальчишку; тот заревет благим матом и побежит, сломя голову, как от медведя, а за ним и вся толпа его товарищей.

Вот тут и производи следствие.

В более благоприятных обстоятельствах находился я один раз, забравшись в такую местность, куда сам Макар редко телят гоняет, где разве от девяти десятый имеет понятие о

* Лесистое пространство между двумя селениями.

своем уездном городишке, и где появление чиновника считается событием, – это потому, что в деревне, в которую я прибыл, находилось волостное правление, а между тем известно, что при волостных правлениях всегда водятся люди: сторож, писарь или его помощник, заседатель и т. п., след. есть через кого распорядиться о сборе народа. Но, несмотря на эти счастливые обстоятельства, в рабочую пору все-таки приходится подолгу ждать... скучать, и я скучал.

Но вот вваливается в занятую мною в правлении комнату для приезжающих чиновников высокого роста, но уже дряхлый старик. Я обрадовался ему, как давно не виданному однокашнику или родственнику.

– Что тебе, дедушка? – спросил я его.

– Молчи, ужо.... – ответил он, закашлявшись.

– Садись, дедушка!

– Ладно, ладно, дитятко.

Старик присел.... прокашлялся.

– А я все о Ваське-то, – сказал он.

– А что о Ваське?

– Да как бы его опять домой.... большака-то?

– В солдаты, что ли, его взяли?

– Нет; почто в солдаты: Бог миловал!

– Так где же он?

– А в ссылку сослали.

– Куда?

– Да куда? Известно куда.

– В Сибирь?

– Нет, видно, маленько подале будет.

– Так куда же?

– Да в каторгу-то в эту проклятую.

– Ну, дедушка, из каторги люди не выходят... разве редко.

– Почто нет! И из солдатов выходят. Ноне так сила стала выходить... и вскоре: все молодяжник такой!.. Новые и с деньгами выходят!

– Да то из солдат.

– Что из солдат? А вон лони* и из каторги Мишка Чиренок выбегал, а еще после моего-то вдолги ушел.

– Что же, он и теперь здесь?

– Нет. Наши-то мужики по что-то изловили его, да в город по десятникам и проводили. А оттудова, бают, опять на место увели...

– Как же так?

– Да мужики-то врут: не спросясь с места ушел, паспорта не взял, глупый... так за то.

– А твой-то надолго ли сослан?

– Да кто его знает?.. Да ведь не на веки же вечные! Решенье-то при мне вычитывали, да непонятливо таково: слышали да слышали, указ да указ... А разы-то не однако вычитывали: то эстолько, то опять прибавят, то убавят, – кто их разберет! По что-то раза по три про одно поминали, а все не однако. Я все более про себя слушал. Наперво и мне ссылку сказали... Видно, пострашать хотели, а потом уж и отказ. А Ваське, кажись, все одно да одно: каторга да каторга, а надолго ли – я не расчухал.

– Так, значит, он был наказан?

– Как не наказан! Наказан – на кобылу в городе клали... у церквы... на базаре.

– Ну, так сколько же ему разов дали?

– Да довольно дали-то: сполна, видно, отвесили!.. Этак под сто будет... А верно-то не знаю: не я ведь стегал. Ноне, бают, уж не стегают на кобыле-то, а моего-то отстегали... Эти в ту пору плети вышли... экие троехвостые. А до того проще было: все боле кнутом. Ну, да сласть-то видно ровнакая же.

– Ну нет: видно, дедушка, не видать тебе большака.

– Да все ваш брат, начальство-то, эк же бают; а я все думаю, не врут ли? Парня-то не по правилу сослали, так... это меня еще в ту пору ссыльный обнадеживал.

– Когда же это?

– А как решенье-то вышло.

– Давно ли это было?

---

* Прошлого года.

– Да не как давно: годов с десятка полтора будет же, а не то немного и поболе. Да ведь ты лучше знаешь: как окружные-то настали... ой нет, постой ужо! как старые-то ассигнации перестали ходить... Мне это памятно... окружный меня шибко выстегал...

– За что?

– А податей неохота было класти. А он говорит: «клади».

– Отчего же ты не клал?

– А вот так... Думаю, оттерплюсь. Да нет, не стерпел: отдал. А после, как зажило-то, так опять и жаль стало. Да и Васька-то бранится: экой, говорит, голова! Ровно малой ребенок! Ведь не до смерти бы застегали... Так, вот, оттого-то и памятно мне это: подати новыми бумажками положил. А после этого Васька-то вскоре и ушел.

– Да за что его?

– А, вот, постой. Дай с краю рассказать. Как решили дело-то, а оно долго таково куда-то... в Питер ли, что ли... ходило, а мы с Васькой все в остроге сидим... Да, вот, постой ужо... Вот вышло это решение. Привели нас в суд и вычитали: мне вышел отказ, а Ваську – на кобылу. Меня скоро отпустили: «Иди, говорят, домой». А Васька в остроге остался... палача т. е. дожидаться. Вышел это я из острога-то, а мне навстречу какой-то начальник идет, – по одежде-то я в ту пору подумал, – короткохвостый такой!

– Это твоего сына ссылать хотят? – он говорит.

– А почем ты узнал-то меня! – я ему опять говорю.

– А по голове, – говорит.

В ту пору арестантам полголовы брили. Не баско таково: на одной-то косице ровно грива ботается, а на другой – чисто.

– Не по правилу, – говорит, – его ссылают. Он ведь не сознался?

– Нет, почто сознаваться? – говорю.

– Ну, так не пошто и ссылать, – говорит: – видно, в бумагах не так написали.

– Я, – говорю, – и ране слыхом уверялся, да и в остроге православные сказывали, что как кто не сознался, так тот и прав; да, видно, ноне новый указ какой вышел...

– Нет, – говорит, – экого указу. А хошь, – говорит, – я тебе сына выстараю?

– А дородно бы, ваше благородие.

– Пойдем, – говорит, – на фатеру.

Вот пошли. А он дорогой все про себя хвастает: я, говорит, не простой человек; я, говорит, и в Питере всему начальству приятель; я, говорит, и самого набольшого там, первого после царя... «долги руки» какого-то... знаю: колько раз во дворе у него бывал.

– А по что же, – говорю, – ваше благородие, ты с экими людьми советен, а в нашем городе живешь?

– Не своей волей, – говорит: – меня тоже сослали.

– Так как же, коли себя не мог отстоять, моего-то Васюху выстараешь?

– А то я... дело другое... Я самому царю сгрубил.

– Вре, ваше благородие!

– А вот блажь нашла: не по что, говорю, указов вы давать, чтобы в каторгу ссылать. А царь-от и говорит: «А? Коли ты так, так сам в ссылку пошел... вот тебе»! говорит.

Я про себя думаю: все врешь, паре; а сам говорю:

– А что, тебя там, в Питере-то, как ссылали, на кобыле, или инако как стегали?

– Что ты, говорит, глупый! Разве нас, благородных, стегают?

– Да ведь, уж коли сослали, так как ни на есть, да вспрыснули же?

Он осерчал; расходился.

– Хошь ли, что ли, я те бумагу напишу? – говорит.

– Пиши! – я говорю.

– А что дашь?

– Нет, ты купец, скажи наперво цену, а я после: так и станем торговаться.

А он вдруг и заломи: – три целковые, говорит. Это десять с полтиной.

– Нет, – говорю.

– А что? Ты давай свое!

– Нет, долга песня нам торговаться.

– Ничего. Ты давай свое.

– Ладно: хошь гривну?

Он опять осерчал. А я все свое. А он давай сбавлять; сбавил уж он до полтинника... рубль семьдесят пять копеек.

– Да постой, – говорю, – что это мы торгуемся: товар-от где? Ты наперво напиши, да вычитай; я еще, может, тебе и надбавлю, как ладно напишешь.

Вот он написал и вычитал. Дородно таково написал: не по правилу, говорит, ссылают. И жалостливо!.. Ну, и приврал небольцу: написал, будто мы со старухой сидим, да слезы проливаем... ровно в песне. А какое: я от роду не плакивливал. Ну, да это что? Бывать, и поверят. Вот и говорю я: дородно, кажись, написал: хошь пятиалтынный (пятьдесят две с деньгой)? Он опять осерчал.

– Ты, – говорит, – видно, тоже выжига, пошел вон!

А я, как бы сбить, говорю:

– Я ведь темный человек... Ты, говоришь, самому царю сгрубил, так боюсь: не написал бы ты и тут каверзы какой: не растянули бы нас с тобой вместе. Вот что, ваше благогородие!

Как взъярит он тут; да меня по шее. Хотел было я караул кричать, да стерпел: думаю, как начальство узнает, так и вправду не взбубетенили бы.

Так и не написали. Тут я пошел в острог... к Васюхе.

– Домой, – говорю, – идти лажу.

– Так что? – говорит. – Иди! Что тут попусту-то проедаться!.. И без тебя отзвонят. Только смотри: мне Пашка глухой шесть гривен с пятаком должен, так стребуй!.. деньгами брал. А опять Мишке Бочкаренку я полтину за семя должен, так скажи: «Он мне не приказывал, а я не знаю»!

– Ладно, ладно, – говорю.

– Только ты мне денег оставь, – говорит.

– А на что тебе, – говорю, – деньги? Житье тебе дородно будет: харчи, одежа казенные, податей не спросят... а, бывать, и жалованье пойдет: робить сташь, так...

Это все я его разговариваю.

– Да на, однако, – говорю.

Тут я и отсчитал ему три с полтиной.

– Мало, – говорит.

– Да на что тебе эко место?

– А палачу, – говорит, – дать надо.

– А по что?

– А помнишь, как он этта хвастал?

– Полно! Все ведь уж до смерти не застегает. А и захлестнет, так одинова умирать: все к тому же Богу угодишь.

– Ну, ладно. Только, Христа ради, загороди ты нашу полянку от филяевцев. Осенью я свиней ихних застал.

– Ладно: загорожу, – говорю.

А я все-таки денег боле не дал: так с рублем серебром и ушел. А ноне, поди, и сам спасибо сказывает: и без денег отбоярился. А палач врал все... хвастал. Как мы в остроге сидели, так его по другому делу привозили; так сказывал: захочу, говорит, так сразу захлестну; моя, говорит, воля; мне никто не указ; нас, говорит, во всей губернии только трое таких: губернатор, архиерей да я – всяк по своей части набольший; все начальники в губернии и сам вица-губернатор губернатора боятся; а я? Ни я его не знаю, ни он меня не знает.

А жаль мне Васюхи-то! Все думаю, как бы его воротить.

– Да ты не рассказал все, за что он сослан.

– А вот постой. Все с краю расскажу: не все вдруг. –

– Ишь ты, снова начал старик, собравшись с мыслями, – у меня другой сын был... помене. Крестили-то его Алешкой, а все боле Мухорой звали; оттого, что из себя экая мухора был: черномазый, испитой, а сам такой вертячий. А Васька, тот детина большой был... красный такой, и просужий был. Этот все около дому, все в дом, да в дом, а Мухора – тот не то: песенник! – И с измалетства все их совет не брал... все дерутся! А такая заноза этот Мухора был. Даром, что Васька экой медведь был, а Мухора все верх брал... ино мне бедно на него бывало. А тут еще у них из-за девчонки вышло. И девчонка-то дрянь: только кости да кожа... такая же песенница, как и Мухора. Уж не знаю, чем она Васюхе-то поглянулась. А она все к Мухоре льнула: так вот от этого-то у них еще боле пошло промеж себя. Васька стал похваляться: «Ужо говорит, каков-нибудь я тебе да буду». – Полно, говорю я, Васька! Не нажить бы беды... да и

грех.– «А что грех, говорит: – мне от него терпеть мочи не стало». – «Плюнь, говорю я, Васька. Право, плюнь! Смотри...» «А я уж знаю, говорит». Ну вот, ладно. Собрались они оба в сузем на верх Утицы. Васька в лодке поплыл, а Мухора с ружьем горой пошел – непоседа такая был. Вот Васюха выплыл, а Алешки нет. «Где?», говорю. – «А лешак его знает: с ружьем суземом пошел». – Вот день нет, и другой нет. – «Ой, опять говорю я, не нажить бы беды, Васюха! Нет ли на тебе приметины какой!» – «Мало ли, говорит, – какие приметины бывают? Не все от того: быват, барана резал». – «Так в огне бы сожег, говорю, – либо в воде утопил». «Ишь ты; он говорит: – рубаха-то и всего два раза надевана; а с этим топором я в век не расстанусь... ловкой такой!» – Просужий был такой Васюха-то: не то, что пропить что без толку, а ино на свечку Богу не подаст: так же, говорит, сгорит, а Бог-от и впотьмах видит.

А тут и соседи стали приставать: «Где у тя, дядюшка Еремей, малыш-от?» – «А где, говорю: пес его знает, где шатается». – А промеж себя, вижу, шибко шушукаются. А потом вдруг всем миром собрались: отдайте нам Алексиюшка, говорят. – Мне бедно это: до того все Мухора да Мухора, а тут вдруг Алексиюшком стал! А бабы, так те еще боле пристают. Послали с известьем в город: пропал, мол, а меня с Васькой в правленье засадили, да и к дому сторожей нарядили. До того, как начальство кого посадит, так ходи по воле; только как спросят, так тут будь. А тут и сторожу правленскому не верят: своих сторожей приставили, никакой вести не допускают.

Вскоре вдруг по деревне крик такой поднялся: мужики горланят, бабы воют, воют... ровно пожар. А это Мухору-то отыскали. Думаю, видно, лешак пособил. Ребятишки в степу-то камнями фуркать стали. Пришел, думаю, час смертный. А уж и рад, что запёрт... за сторожами сижу; а все боюсь: убить – не убьют, а изувечить – изувечат... Не что возьмешь!

Вот в долги ли, в коротки ли, из города начальство наехало... людно таково. Исправник приехал, приехал становой, наш помощник окружного, стряпчий, лекарь, писарь

городской с ними же, а с лекарем еще какой-то, который потрошит. Вот сколько! – Вот ты востер, ваше благородие: все один по эким делам ездишь; одному-то тебе и боле попадет, да и нашему брату легче: на одного-то все мене сойдет, а то на семерых... чем соймешься?

Поплыли все туда, где Мухору-то нашли. И нас поняли с собой, и народу людно. Гляжу – и Машка с нами. Мухорина-то подружка. По что бы, думаю? Вот приехали. А Мухора лежит на бортинке: листьем прикрыт и сучьями завален. Сор-от духом разбросали. Вижу – Мухора и есть, весь в крови... засечен... и вонь такая! – «Твой это сын?» спрашивает меня исправник, столь сердито. Я вижу, что запереться нельзя: соседи признают, да и лопотина его. – «Да, мой, говорю, надо быть, ваше благородие: ишь весь в крови запачкан, так не разберешь». – Потом Ваську спрашивает: «Это твой брат?» А тот в одно слово говорит: «Мой, видно». – «Видно! надо быть!» – передразнил исправник. А потом соседей спрашивает: «Он это?» А те, как волки, завыли: «Он, он, ваше благородие». Тут стали писать... пень отыскали матерой. То исправник, то стряпчий скажут, а писарь все пишет... и все пустое: в кую сторону голова загнулася, которая нога скорчилась, куда рука засунута, которое место просечено... какие прорехи на рубахе – и те все выписали! Потом исправник позвал Алеху Долгого: «Покажи, говорит, откудова ты увидал?» Тот отвел не так-то далеко: «Вот тут, говорит, я прилучился». Ишь, я думаю, куда его леший занес! Опять исправник говорит: «А где он его засек»? Алеха опять показал: тут кровь нашли. Потом Машку спросили. А она, потаскуха, близко Мухоры воет-лежит, причитает; видно, жаль дружка-то. Привели ее. «Ты отколя видела?» И она отвела место: далеконько, а видно. «Я, говорит, корову искать ходила...» Лешай, видно, у нее корову-то унес. А просто: либо сама за ним, курва, пошла, – сговорились, – либо как пронюхала. У них ведь, у долговолосых, где надо, так нет ума: а где не надо, так и нашему брату того не догадаться. – Только исправник ей и говорит: «Ты это после расскажи». – А не по правилу ведь исправник молвил ей это, ваше благородие?

– Отчего же не по правилу? – спросил я в свою очередь старика.

– А как бы она тут-то рассказала, так Ваське ловчее бы было ответы держать.

Вот подняли Мухору, как есть, на доски, да и в лодку. Как приплыли в деревню, Васюху прямо к допросу и потянули. А ловко было он сперва отбояривался! Это он мне после сказывал: «Слыхано ли, говорит, чтобы брат на брата руку поднял! Как бы я засек его, так трясся бы все», говорит. «Видно, Алехино с Машкой дело, а они на меня повернули». Как сказал он это, исправник-от и хотел было и их засадить: бывать, и правда, думает; да этот стряпчий пристал за них. Он и после не одинова дело портил. Он тут боле всех виноват. А Алеха с Машкой всему делу начальники: как бы не они, так, бывать, так бы и прошло – пропал, да пропал. А это они наперво соседям проляпались, а потом и доказывать стали.

– Да чем же они виноваты?

– Как чем? Почто врать?

– Да ведь они правду говорили?

– Да не по что ляпать! Им что? Ведь не их...

– А присяга-то?

– А что присяга? Ину пору и в пустом деле под присягой врут; а тут так... Нет, это у нас народ такой дикий.

После Васьки меня привели. А я что? Знать не знаю, да и все: дома был. И я говорю: слыхано ли дело, чтобы отец на свое детище руку наложил?

Тут стали Мухору потрошить; и нас привели всех. Разболокли его. Да и разболокали-то не по-людски: чем бы стащить все, они всю лопотину ножницами изрезали... чужого-то не жаль! Только я смолчал. Одна рука у Мухоры сжата была, а как разжали – в ней волосья. Ишь, ведь, какой, прости Господи! И тут еще чем-нибудь да надо! А волосья-то, как у Васьки. Тут этот стряпчий и говорит исправнику: «Не правду ли я говорил? У Алехи черные волосья, а это рыжие... вон чьи!» А сам на Васюху перстом-то тычет. – «Да», промычал исправник. – Применили волосья к Ваське: исправник опять промычал: «Да». Тут потро-

шить стали, – а не по что бы: чего тут искать? Навозу ли, что ли? Ведь и без того видно, что засечен, – так нет! Сперва волосья обстригли; потом стали череп пилить... пила такая ловкая. В кости-то опять нашли иверень от топора... экой лоб был! Сходили к нам, забрали все топоры, а иверень-от к одному и пришелся. Не послушал меня Васька: чем бы забросить куда, он стал оттачивать, да пожалел: отточить – не отточил, а приметину, что было точено, положил. – Тут уж и вовсе напали на нас. Ваську в железо заковали, и колоды-то на ключ заперли; а меня – нет, не виноват, так... А Васька все на своем стоит: знать не знаю! Тут нас обех по десятникам в город, да и в острог...

– А тебя-то за что же?

– Да вот так! Все этот стряпчий виноват. Как шли эти спросы да переспросы, им все хотелось, чтобы Васька повинился; а он – нет! Они меня подущали уговорить его. А я сказал: почто я стану уговаривать на себя эко дело ляпать? А тут бабы опять соврали, будто моя хозяйка кровь на Васюхиной рубахе отстирывала. Я ничего не чул про это, а меня вдруг и спрашивают: «Коли Васюха барана резал»? Я вспомнил, что Васька этак хотел про кровь сказать; подумал, да и говорю: перед Успеньем. А и не ладно вышло. Этот стряпчий опять спрашивает: «Почто резал: на кокорку* али так есть»? А я и ляпнул: задницу-то, вестимо, на кокорки, а перед во щах съели. «А сало?» – опять тот спрашивает. – А про сало, говорю, не знаю. А Васька-то другомя показал; а хозяйка тоже опять другомя. Как бы меня не так спросили, а спросили бы: резал барана Васька, али нет? так я бы и сказал, что запамятовал, а тут, видишь, я и не догадался. Так вот за это-то меня и посадили: ты, говорят, его покрываешь! А того не разумеют: кому же и покрывать сына, как не отцу? В доме-то все перерыли, – ровно Мамай прошел! И все при мне, да при Васюхе. Ну, да это-то, пожалуй, и ничего бы: без нас-то, пожалуй, и уповинили бы; да нехорошо то, что и до казны дорылись. А

* Вяленое мясо, преимущественно дичь.

еще соседи про себя шушукают: вот где горбуновские-то крестовики! говорят. А врут! У Горбунова и крестовиков-то не было... ассигнациями все, старыми.

– А что это за Горбунов?

– А это пустое! Тут ране того проезжал на ярмарку, на Евдокиевскую, устюжанин один. Там есть речка этакая... Югом прозывается, так по этой речке все устюжане живут. Этот завсе у нас приставал. А тут его пониже нашей-то деревни подняли: так на нас ляпали. Только тогда следство было по правилу... так и прошло! Да ведь и тут, как бы не этот стряпчий, так тоже бы ничего, бывать, не было бы. Он еще и после, как в суде нам решенье вычитывали, подошел ко мне, да и говорит: «И тебя бы надо на кобылу вместе с сыном: ты всему делу начальник»! – Вот как врет!

– Ну, а отчего же тебя посадили, а хозяйка твоя дома осталась?

– Да та, глупая, ловчее показала, как есть... Ну, да я уж за то и отзвонил ей после...

– Ну, и не жаль тебе было малыша-то, Мухоры-то?

– А что его жалеть-то? Ведь уж не воротишь.

– И во сне он не снится тебе?

– Почто? Во сне одни бабы видят, а человек спит, так что увидит? Глаза-то закрыты ведь... А и не любил я Мухоры!

– За что же? Разве он не работал?

– Нет, почто не работать! В иной работе самого Васюху за пояс заткнет. Не любил я его за то, что ину пору не дело делал. Ино, в простую пору, чем бы около дому что, а он либо с девками ломается, либо ребятам свистульки вырезывает... ножи тупит. Однова мы ямщину держали; так того и смотри, что лошадей упарит. А все из-за чего? Иной начальник на вино даст; а он про себя деньги копил, да вдруг и купи бабушку...* перед девками наигрывать, да у солдата зеленое экое перо от птицы от какой-то... Вот он какой был! Да это-то еще что... А как Горбунов-от этот проезжал, так он и тут... Мы с Васькой-то думаем, как бы...

* Гармония.

А он подслушал ли, что ли... разбудил мужика: «Убирайся, говорит, по добру по здорову!» Васька воровски от него лошадь запряг, да едва сустиг, говорит...

– Так вот какой этот Мухора был, в. б. За что его любить? Нет, вот Васюху-то выскрести бы как... Не воймешься ли ты в это дело? Я бы...

– Нет, нет, дедушка, ты напрасно хлопочешь! Молись лучше Богу.

– Да почто бы не молиться! Только худ стал... изробился... так и спина-то не гнется. А другое-опять и дорого. До того свечка-то – деньга была, а ноне три копейки с деньгой подай. А Бог-от, видно, все свое... Вон и Царь ноне все на войне живет. Сказывают, опять Француз находил... с Турком сговорились. За́все рекрутчина! За́все деньги подавай! Что нехристи потакать! Чем бы самому в Царь-городе сидеть, он там Турку начальником посадил. И еще старый Иерусалим придал... экие города! Али у него своих нет начальников? Так уж это, видно, Божье попущенье за грехи наши. – Как-то солдат выходил, так сказывал: на этого Турка белый Арап находил. Так Царь-от на подмогу ему своих солдатов посылал. А Турка-то начальнику нашему Маравлеву золотое перо подарил... за то, что отстоял его. А тут вот... за спасибо-то! Я бы так этого же Маравлева и посадил там губернатором, коли самому неохота. А солдат сказывал, что губерния большущая и земля дородна... родит всячину...

– Да. А все-таки я советую тебе молиться, хотя про себя... Ты одинок?

– Да как не одинок! И старуху-то тоже издержал.

– Как это издержал?

– Да как?.. Как Ваську-то сослали, так выла все: все ей Мухоры жаль. А мне Ваську: ну, так о ину пору и треснешь ее чем ни на есть. А она все ныть, да ныть... да возьми, да и умри! А тут, прости их Господи, и гроб ей сколоти, и к церкви отвези, и могилу выкопай – все разоренье... Вот и молись тут! Как бы меня-то Господь поскорее прибрал... Не жизнь, а маета стала! Ото всех весь свой век, про все, терплю. Как стал я помнить – все меня не любили. А я хошь бы малого ребенка без дела задел. Все, как волки, глядят. Один

Васька... тот закон знал. Оттого мне и жаль его. Как бы все экие были! Народ ноне дик стал. Ото всех обида... а стар... пособиться нечем!..

– Как же пособиться нечем? Ты, как видно, был человек работящий... не мот... ну, и горбуновские-то...

При этом замечании моем старик вдруг вышел из себя: он встал и выпрямился; из-под седых бровей его готова была сверкнуть молния; его рука судорожно застучала о пол костылем.

– Что ты, дедушка Еремей? – сказал я старику, недоумевая...

Но старик пошел от меня скорыми шагами, произнося страшные ругательства. Ко мне вбежали заседатель и писарь, чтобы осведомиться о случившемся, сообщив между прочим, что старика велели из правления по шее вытолкать, а если я желаю, то его посадят в арестантскую, и во всяком случае готовы быть свидетелями, что он оскорбил меня ни с чего.

Я отказался от такого обязательного предложения.

– Да надо бы его поучить, в. в., – сказал мне заседатель. – Он уж больно стал забываться. На той неделе чуть парня костылем не зашиб.

– Да что же он, с ума свихнул, что ли?

– Не то что свихнул, а жила! Да еще прозвища не любит: его зовут «горбуновские крестовики». Скажи ему это слово, так он чем ни попало свиснет. Вот каков этот старик!

– Отчего же он этого прозвища не любит?

– А вот изволите видеть, в. в., отчего: слых идет, что они с сыном, с тем, который в каторгу-то ушел, может быть, слыхали...

– Да.

– Так они устюжанина торгового ухайдакали... У этого устюжанина деньги были... крестовиками все. Так вот эти крестовики-то дедушке Еремею и достались... давно это было. Ну, и сам он был мужик прожиточный... жила! Докамечи не выдерут – ни за что податей не положит; в церковь не ходит: жаль на свечку подать. На что – на скупщи-

ну* от роду не хаживал... жаль! Завально денег у него было, в. в. Только после того, как большой-то сын у него, Васька, в каторгу ушел, все не в прок пошло: тягунишко такой стал... И дом у него нарушился: старуха умерла... тоже, говорят, ухайдакал. Вот и пошел он ко внучке в дом... к дочерниной дочери. И кубышку с крестовиками перенес, да все прятать, чтобы, то есть, никому не доставайся. А все боялся, как бы свои-то не дошли; все по ночам вставал перепрятывать. Ну, вот этак прятал, да прятал – да и запрятал так, что и самому не сыскать. – Отродясь этот человек не вывал, а тут взвыл: сидит в клеве, а сам в навозе роется. Свои услышали, прибежали: что, дедушка Еремей? А он, знай, в навозе копается. Так вот после этого его все ребятишки дразнят: «Пойдем, дедушка Еремей, горбуновских крестовиков искать». Как скажут это, – он чем попало, тем и свиснет. На той неделе парня чуть до смерти не зашиб. Да плюнули...

– А за что старший-то сын его убил младшего?

– А кто их знает, в. в.! Давно ведь уж это дело-то было. А слух есть, что будто из-за девчонки из-за одной. Говорят, будто она на убийцу-то и доказала...

– Что же, она жива и теперь?

– Почему не жива? Жива: замужем уж давно; ребятишки подрастать начинают.

– Хорошая она баба?

– Хорошая, примерная эта баба. Вскоре после убийства-то ее и выдали.

– Кто же взял ее, если знали, что она любила убитого?

– Да отчего не взять, в. в.? Ведь тот убит, так уж что... В нашем крестьянском быту это делу не помеха. Как бы она стаскалась с кем... а то, видно, этого не было.

– И за хорошего человека вышла?

---

* Скупщина – это складчина на пиво и вино натурой и деньгами по случаю церковного праздника.

– Тоже хороший человек... смирный, честный мужик... Все его у нас Алехой Долгим зовут... это прозвище, а настоящая-то фамилия Пожарских.

– Старик говорит, что какой-то Алеха Долгий тоже был свидетелем убийства.

– Это он и есть, в. в...

– Это странно.

– Уж так видно Богу угодно было, в. в. Не знаю, правда ли, а врали прежде, что Марья-то пошла в лес за покойничком... Приметила ли что она недоброе, или уж сердце чуло... а Алеха-то увидел, что она пошла, так опять за ней по что-то пошел... и ему тоже она люба была. Будто так дело было, а кроме того, кто их знает?..

– И хорошо они живут?

– Почему не хорошо, – хорошо живут. И Алексей и Марья добрые люди, так... Да и не в кого им худым-то быть: вся родня у них смирная. Может, и Марье-то лучше, что покойничка убили, а не то, как за которого Еремеевича вышла бы, так натерпеться бы ей было!..

– А разве покойник тоже нехороший человек был?

– Нет, этот, говорят, выродок был, – в мать пошел. Да все другие-то семейники в старика удались. А как бы за убийцу-то угодила, так укоротали бы ей веку то, как и старухе-то Еремеевой. Да ведь все они вот какой народец, в. в.: сказывают, ни одной панихиды не отпели над покойничком; а вот Алексей-то Долгий, – ведь что бы тот ему, – наравне с родителями в поминанья пишет «убиённого Алексия»... Алексеем тоже покойника-то звали. А может, он, мученик, сам молитвенником за них предстоит пред Господом; может, из-за его мученических молитв и дом-то Долгого – как полная чаша. Даром что семья у них большая и все мал-мала меньше, а нужды никакой ни в чем не знают. Вот недавно Долговязый-то новый амбар под хлеб срубил. Говорят, и деньжонки ведутся. И все это, в. в., ведь не злым делом каким... не то, что у дедушки Еремея. Оттого у этого все прахом и разнесло... и Бог знает, достанется ли что кому! А вот Алексею-то ли, Марье ли после мученика как-то перо досталось зеленое... павлинье, так они его

по сю пору за образом воткнуто держат; потому, видоки сказывают, как поутру осветит его солнышко, так как будто кровь мученическая проступает на нем... алая такая... Говорят, как проступит она – и солнышко веселее заиграет, а как спрячется – и солнышко облачком задернет. Шибко дивятся наши диву этому дивному... Сам я не видал... не доводилось, а видоки на то многие есть.

IV.

ПРОКАЗЫ ЛЕШЕГО

В половине июня 186... года я получил отношение станового пристава, которым он приглашал меня в Монастырскую волость для нахождения при вскрытии трупа младенца мужского пола, найденного в колодце. Путь лежал мимо становой квартиры. Здесь, кроме станового, я нашел уездного врача с лекарским учеником, и мы двинулись к месту происшествия все вместе. Приехав на последнюю станцию, я пригласил еще волостного заседателя в качестве депутата при предстоящем следствии.

Монастырек, собственно, не волость в официальном смысле, а маленькая группа деревушек, с населением около 100 душ. Это такая местность, куда сам Макар телят не гоняет; она лежит среди обширного, покрытого лесом болота, в стороне от проездных дорог, верстах в 25, и то, быть может, семисотенных, от ближайшего селения.

Большую часть этих 25 верст, которые, как говорят, какая-то баба клюкой мерила, мы прошли пешком, часто проступаясь в болотистой почве и запинаясь о пни и колоды. Только изредка встречались суходолы; но ничто не веселило взора: одни болезненно-тощие ели рассеяны кругом по болотистому желто-зеленому фону. Между тем, северное солнце вступило в свои права. Разговоры не клеились, потому что все мы находились под влиянием тягостного утомления. Я попробовал завести разговор с ямщиками, чтобы узнать по крайней мере слухи о происшествии, которое мне предстояло обследовать; но попытка эта не имела успеха.

– Да не доводилось нам и бывать в этом в Монастырьке, ваше высокоблагородие, – отозвался один из ямщиков. – Делов там не бывало, да и монастырчане-то к нам редко бывают. Сами видите, какое дикое место у них... и дороженки-то деланой нет к ним. Там и крещеные-то пополам

с лешаками живут. Вон и лонись*, сказывали, лешак девку уносил...

– Как так?

– Ей Богу, говорят, не благословись в лес пошла. Вот ведь каков народец там, в. в!.. Дикий народ! А еще крещеными прозываются.

– А что же девка-то, вышла от лешего?

– Вышла, говорят. Уж в избе у лешака догадалась перекреститься; так соседи еле живую под колодиной посередь болота нашли... на другой день никак.

Наконец вдали показалось поле. Мы повеселели. Даже лошади стали бодрее. Мы сели в повозки и с неслыханным в Монастырьке звоном нескольких колокольчиков вдруг въехали в первую деревушку.

Тотчас же заметили мы 3-х мужиков. Оказалось, что это были очередные караульные при трупе. Мы тут же осмотрели его, и оказалось, что он значительно разложился.

Резиденцией свой мы избрали дом, ближайший к трупу и колодцу, из которого первый вытащен. Первым нашим делом было позаботиться о самоваре, а затем и об обеде. За самоваром послали к священнику, которого велели пригласить к себе. Становой занялся распоряжениями о сборе народа, доктор принял на себя заботы о столе, а я от нечего делать отправился на крыльцо, которое уже успела окружить толпа ребятишек, почему я и захватил с собой несколько кусков сахару.

Когда я вышел, робкая толпа отодвинулась, но не разбежалась, заметив, что я сел на ступеньку. Бойчее других оказалась девочка лет 6. Она выдвинулась поближе ко мне и стала внимательно меня рассматривать.

– Подойди ко мне, девушка. Чья ты?

– А не подойду

– А я тебе чего-то дал бы.

– А чего бы ты мне дал?

– Сладкого, сахару.

– А что сахар?

---

* Прошлого года.

– Сладкое, я говорю.

– Ну, а покажи.

Я показал. Девочка подумала.

– Нет, не пойду, – все-таки сказала она.

– Отчего же?

– А как ты лешак?..

– Да с чего же ты взяла, что я лешак?

– А ишь на тебе какая лопотина-то некрещеная.

– Нет, я человек крещеный.

– А ну-ка перекрестись.

Я перекрестился. Девочка подошла ко мне нерешительно. Я подал ей сахар, но она все-таки не взяла.

– Ты сперва сам поешь, – сказала она.

Я откусил. Девочка опять подумала.

– Да... А как ты лешак, так тебе-то ничего, а мне как бы лягуш не народить.

– Каких лягуш?

– А вон лонись Машку лешак-от уносил; да как она у него напилась, так после много, много лягуш народила.

– Правду ли ты говоришь? Не врешь ли?

– Ишь ты – врать! Нет брат, кто врет, так того на том свете за язык повесят. Попробуй-ко, поври ты, так узнаешь.

– А где тот-то свет?

– Не знаю... там! – Тут она махнула наудачу ручонкой.

– Ну, так возьми же, отведай.

– А перекрестися ты три раза.

Я перекрестился. Девочка взяла кусок, перекрестилась и стала нерешительно его грызть.

– Про какую Машку ты говоришь?

– Про какую?.. Про Чешихину. Право так! Хоть кого спроси. Нет, брат, уж я-то не совру.

Между тем маленькая дикарка вошла во вкус: сахар ей, видимо, понравился. Сначала она стала посмеиваться, потом оборотилась к своим, показывая им кусок, и побежала, а за ней бросилась вся толпа. Я остался один, озадаченный сообщенным мне правдивой девочкой сведением о рождении Машкой Чешихиной лягушек.

Но вот показался священник, а за ним посланный наш с самоваром и какая-то женщина с чайными чашками и чайником на подносе. Я отрекомендовался священнику и мы вместе с ним вошли в дом. Там мои спутники также познакомились с ним. Это был человек почтенной наружности, уже далеко не молодой и, как после оказалось, словоохотливый. Правда, тридцатилетнее, почти безвыходное, житье в такой пустыне, каков Монастырек, наложило на него печать некоторой дикости, но из всех речей его видно было, что это человек с сердцем, способным откликаться на все то, что требует ответа от сердца.

Доктор и становой продолжали заниматься принятыми на себя обязанностями: один неслужебными, а другой – служебными. Я остался для беседования с почтенным священником.

– Скучно вам здесь, батюшка?

– Поначалу скучно было, ваше высокоблагородие, а теперь очень, весьма хорошо.

– Приход ваш, как видно, бедный: может быть, вы нужду терпите?

– Нет, благодарение Всевышнему, никогда не роптал на Промысл. Я здесь детей воспитал. И вот, один сын вышел во священника тоже, другой служить в палате государственных имуществ и уж чин получил... Двух дочерей пристроил... А больше мне что, ваше высокоблагородие? Прихожане меня любят: аз есмь пастырь добрый... Не хвастая, говорю, в. в: спросите у любого. Я у них не ищу, а они меня не обойдут. Здесь уж мы со старухой, в. в., и кости свои, видно, похороним. Смирный здесь народ, в. в. Вот что для нашего брата хорошо. Иной случится, по глупости, и обзовет непригоже... Ну, и скажешь ему: «Иди с миром». А после тот же грубиян, яко Закхей мытарь, четверицею воздает тебе. Есть этакие люди, в. в.: я уж это знаю. Дикие они – это так, а Бога боятся. Вот здесь какой народ, ваше высокоблогородие: я не люблю, как скот тиранят; в церкви не смел об этом сказать... как отцу благочинному покажется!.. А так на сходке сказал: братцы, говорю, Господь сказал: «Блажен, иже и скоты милует». Ведь перестали, в. в. Чело-

века, я говорю, обижайте, когда совесть есть: он сам ответит; а скотина безответна. Вот и вы, в. в., помилуйте наших-то. Без вины ведь виноваты... Смирный народ!

– Батюшка! мы винить никого не желаем, но согласитесь, что ребенок в колодезь брошен: ведь он также живое существо... и тоже безответное...

– Это точно, в. в. ... Мудро вы мыслите; только, может, и со стороны кто-нибудь...

– Да согласитесь: кто может решиться идти сюда, худо за 25 верст, с таким товаром?..

– Точно так. Одному Господу известно... Неисследимы пути Его!

Между тем самовар скипел. Все наше общество разместилось по лавкам и скамьям вокруг стола.

– Мне кажется, батюшка, у вас народ очень суеверен? – спросил я священника.

– Это точно: дикий народ! Как это вы-то, в. в, изволили это усмотреть?

– Да я-то, может быть, и ошибаюсь; но мне показалось, что здесь очень крепко верование в леших.

– Точно так, точно так, в. в.: сами видите, в каком лесу мы живем. Вот наступит вечер, так услышите: как петухи начнут перекликаться. Вон у нас на родине... тоже сторона лесная, а этой нечисти много меньше. Только чего их бояться? Сколько раз своим-то твердил, что именем Господним беси изженут, что перед крестным знамением бежит всякая нечистая сила! Сколько раз себя в пример выставлял: вот как я, говорю, ничего не начинаю не благословясь, так и не страшусь никакого наваждения нечистого. И это точно, в. в., ни разу меня леший не важивал, ни водяного я не видывал. Впрочем, этих водяных у нас почти что нет: Господь избавил... Видали же другие под Пежемской мельницей чертовку... космы расчесывает; однако я не видал, хотя и приводилось проходить мимо и не во благовремении. Раза по два слыхал же, что как будто что-то плещется, да думаю, не рыбешка ли играет... Все это много раз толковал им я, а они, глупые, говорят: ты – поп, так оттого, видно... Вот какой народ здесь, господа почтенные!

– Скажите, пожалуйста, батюшка, что это за слух, будто одна девица здесь лягушками разрешилась?

– Это точно... Мария Чешихина. Это точно случилось... на память Исаакия Далматского. По священству скажу, в. в., это точно было. Я сам и лягуш видел... велел их в бане сожечь... Вот опять скажу, какой здесь народ простой. Сколько раз поучал я: благословляйтесь, когда пьете и едите... и на чашах, из которых пием... так нет! Напилась, глупая, из болота, не осенясь крестом. Я говорил ей, да запирается: я, говорит, перекрестилась. Да меня не обманешь. Однако, господа почтенные, нельзя с них за это и взыскивать: народ простой. Вон у меня и пономарь тоже вздумал было вольнодумствовать. Я говорю, что бывает от этого, и пример привел: у нас на родине этак-то одна девица змею выкинула... Так не верит: давайте, говорит, хоть целое ведро болотной воды, не благословясь, при вас высосу, – а ничего не будет... разве вырвет. Однако я пригрозил: отцу благочинному, говорю, донесу на тебя, так он и язык прикусил. У нас отец благочинный – строгий: он не то, что воду, так и вино пить претит, а паче не в меру и не во благовремении.

– Да он сам пьет, – вмешался становой, – да еще как!

– Это точно, в. б., – ответил батюшка, немного приподнимаясь, – пьет, да не так, как другие грешные.... наш брат. Вот и ныне, в феврале месяце, вызывал он нас со старостой к себе с книгами. Я, говорит, сами видите, пью, да не так: я воздержание знаю. По священству скажу, говорит, отец, что с тех пор, как во иерея рукоположен, не осквернил уст ни словом непотребным, ни козлогласованием бесовским. Другой, говорит, примет малую толику, да и пошел: «Посеяли девки лен!» А по-моему не так, говорит: пой хвалебную!... Все одно веселие, да не то. Или к боли позовут, говорит... я во всякое время готов: и с трудом, а требу исполню. Я хоть целый штоф выпью, а от дела не прочь... не ленив. Как бы все так пили, так я б и рукой махнул... Вот за это-то я и получил... Тут отец благочинный показал на камилавку.

Мы кончили чай, а обед уж был наготове. – Отец Ликарион отказался от трапезы, так как она была скоромная, и ушел, пообещавшись явиться по первому требованию. – Мы сели за стол. Вот входит моя знакомая девочка. Мне пришло на мысль, что сахар ей понравился.

– Как тебя зовут, девочка?

– А как? Анюткой.... известно.

– Хочешь еще сахару?

– Нет, – ответила девочка нерешительно.

– Да подойди сюда.

Девочка подошла.

– Вот, возьми, – сказал я ей, подавая кусок сахару.

Протянув ручонку и посмотрев в блюдо, из которого мы ели, она сказала:

– А как ты не лешак, так почто по постным дням молочное ешь?

– Мне батюшка позволил.

– А врешь! Смотри, как за язык-от на том свете повесят.

– А тебе жаль меня будет?

– А таковский....

– Да ведь ты сама сейчас сахар ела; а он тоже молочный: видишь, белый... из молока делается...

– А мне что? Мне еще семи годов нет: мне и до обедни о праздниках дают...

– Ну, так прощай.

– Нет.

– А не уйдешь, так я тебя за лекаря замуж выдам...

Девочка стала пятиться, потихоньку отворила дверь – и удрала.

Мы кончили обед. – Доктор предложил нам со становым дать ему вопросы, на которые он должен будет отвечать. Мы редактировали вопросы так:

1) Отɜqjɔ ɛɔdaqQɔJĖaĖ dɒqdəɢ ɒaĖQqbɜĖ?

2) Убитый, и если убитый, то каким образом, брошен он в колодезь; или же живой?

3) Живой или мертвый он родился?

4) Если живой, то сколько времени прошло между рожденьем его и смертию?

5) Сколько времени прошло, приблизительно, со времени его смерти?

Доктор вскрыл труп, и прежде, чем написал протокол вскрытия и свидетельство, словесно сообщил мне свои выводы в таком виде:

Ребенок вполне развит и родился живой.

По всей вероятности, он умер вслед за рождением.

Смерть последовала от задушения; но задохся ли он в колодце, или задушен ранее, чем брошен туда, определить невозможно.

Умер он приблизительно не более двух и не менее одной недели назад.

Заранее зная содержание медицинского свидетельства и полицейского дознания, я, не ожидая, пока то и другое будут облечены в форму, приступил к следствию, которое начал повальным допросом всей крошечной волости; и прежде всех спросил местную повивальную бабку и хозяина колодца, в котором найден труп. Первая сказала, что в последнее время, если она и принимала детей, то все они живы; за советами к ней никто не обращался; женщин и девиц, которые бы разрешились без нее, она не знает; кроме нее, никто в волости повивальным искусством не занимается; хотя и были признаки беременности у Марьи Чешихиной, но оказалось, что это от лягушек. Хозяин колодца показал, что кто сделал над ним такую издевку – он не знает; в его же семействе, кроме жены, которая и до сих пор беременна, взрослых женщин нет. Показания всех остальных обыскных людей были сходны до самых мелких подробностей.

– Ну, как ты думаешь, чей это ребенок?

– А Господь его ведает, в. б. У нас некому; разве из другой волости кто.

– Да кто же пойдет к вам такую даль с этакой ношей?

– Уж мы сами ума не приложим, в. б.

– Да ведь вон говорят же, что у Марьи Чешихиной был большой живот, да вдруг опал?

– Врали это, точно. Поначалу на Сеньку Буторича ляпали... будто с ним; а после враки и вышли... понапрасну бедную девку бесчестили: это в ней лягуши завелись.

– Как так?

– А вот как, в. б. Лонись ее лешак уносил.

– Летом?

– Да уж перед осенью: канун кануна Семенова дни. При мне и дело-то было.

– Ну, так расскажи все с краю.

– Пошли мы это в лес за скотиной; и людно нас было; и Машка-то с нами пошла. Солнышко уж на закате было: лешаки уж начали поухивать. Подходим мы к Коровьему Повороту. А это место самое нечистое у нас слывет: кого-кого тут не важивало! На что скотина – и та тут то и дело блудится. Видно, тут что не самый некошной водится. Идем это мы, и видим, Машка отставать стала; да ну, думаем, мало ли зачем девке отстать понадобилось... догонит! А сами все идем, да идем; а ее все нет да нет. Вот мы и сомневаться начали, и голос стали подавать: «Машка!» А она и голосу не подает... только лешаки отводят... гагайкают: «Машка! Машка!» – ровно дразнятся. Что делать! Мы все воротились – и о скотине не думаем: человек пропадает... как бы судьбища не было. Разошлись мы это по лесу; друг другу голос подаем; ну, и Машке тоже. А только лешаки гугукают, да дразнятся. Уж поздно стало. Собрались мы вся ватага: как, братцы, быть?.. Как отвечать начальству станем? Сперва надумали сказать: знать не знаем, и не ходила она с нами. А другие стали говорить: нельзя. Все соседи видели, как мы с ней пошли. – Тут девчушка такая с нами была... недоросток. Та и говорит: да она с Сенькой, с Буторичем ушла: я, говорит, сама видела. – Как так? – А так, говорит: еще как вперед шли, так он издали манил кого-то; а после, как Машка отстала, он позади ее идет... а тут и пропали! Я, говорит, это своими глазами видела. – Ну, думаем, неладно дело. Какой тут Сенька! Сенька еще с обеда на посад ушел... работы к зиме искать; и харчей на неделю взял. А ей, глупой, это показалось. – А тебя не манил, говорим мы этой Пушке-девочке? –Манить-то, говорит, манил, да я

перекрестилась. – Вот, пришли мы домой. Сказали Машкиным отцу и матери – и десятнику объявили. Те говорят: куда мы в этакую ночь пойдем! Бывать, и сама выползет. Вот и утро пришло – нет. И день проходит – нет. Под вечер опять собрались мы волостью: как быть? И надумали всем идти.... отыскивать: что будет!.. Как пришли к тому месту, где она потерялась, да и сговорились, чтобы всякой шел, благословясь, прямо, чтобы ни за что никуда не сворачивал... это для того, чтобы лешак от места не отвел. Как пошли этак, – вскоре Машка и голос подала. Глядим: а она ни жива, ни мертва на трясине такой, возле ляги* лежит. Как тебя, суку, занесло сюда? – Молчите, говорит, после все расскажу. Это дивно нам показалось, в. б., что накануне близ самого этого места проходим, а ничего не видали, не слыхали: вот ведь как нечистый над крещеными издевается!... Видно, отвел как-нибудь.

– Что же она-то, Машка-то, вам рассказывала после?

– А все рассказала по правде: как ее мать на походе выбранила; как ее подхватило вдруг; как она очутилась у лешего в избе; как обменка** качала; как потом догадалась перекреститься; как после того под колодиной в болоте очутилась; как из ляги воды напилась... все, как есть, по-правде рассказала!

– Почему же ты знаешь, что по правде: может быть, она врет?

– Нет, как можно врать в таком деле! Слово в слово так же рассказывает, как и старики... До того тоже бывали такие случаи. Да вот ты, в. в., лучше саму Машку допроси: она лучше расскажет... сама была, так...

– Хорошо. А как же после того у ней живот вырос?

– А как? Из ляги воды напилась, так оттого лягуши завелись... Это тоже бывает. Вон и батюшко рассказывает, что

---

* Лужа.

** Так называется ребенок, унесенный лешим и оставленное, взамен его, последним, собственное нечистое дитя.

на ихней стороне этак же одна девка змею выметнула. – Да чего! Я не один лягуш-то досматривал!

– Это так; но как же ты объяснишь, что Машка ровно через девять месяцев с того дня, как ее лешак унес, лягуш выкинула, и у ней брюхо опало?

– А как напилась воды из ляги, да и все тут... это бывает.

– Как же сам ты говорил, что одна девочка видела, что в то время, как вы с Машкой ходили в лес скотину искать, канун кануна Семенова дня, около вас вертелся Семен Буторин; а между тем слух был, что у нее с ним...

– Ой, в. в., да ведь она лягуш выметнула, а Сенька-то парень совсем, как есть... Все общество лягуш видело. Как от Сеньки лягушам завестись? – А что Пушке Сенька показался, так ведь нечистый угораздится во всяком образе показаться. Я знаю: моего батюшку тоже этак водило... сказывал покойник.

– Ну, а что же говорили у вас про связь Машки с Сенькой?

– Врали все! Таковская ли эта девка! Такие ли у нее родители!.. Строгие это люди: у них не только с парнем сволочиться девка, а и поглядеть-то ласково не смей. Да чего: и по вечеровaньям-то не пускают, а не то что...

– А что Сенька-то, тогда нашел работу на посаде?

– А нет. О Семенове же дни и вышел. У всех хозяев, говорит, был, да ничего не мог доспеть*. И его тоже в ту пору, в. в., водило, да скоро догадался. Пошел, говорит, прямо лесом, да как приметил, что не ладно идет, так перекрестился. Как перекрестился, вдруг и захохотало: «А, говорит, догадался!..»

– Много же у вас леших-то!

– Людно, в. в.

Переспросив соседей, я потребовал Машку. Та явилась вместе с отцом. Последний никак не мог согласиться, чтобы я допрашивал ее в присутствии одного депутата, и я уступил его настоянию. Машка оказалась молоденькой, 18

* Сделать, успеть.

лет, девушкой, с довольно красивым и живым лицом, несмотря на его легкую болезненность.

– Все соседи говорят, что у тебя был живот большой и вдруг опал незадолго перед тем, как нашли в колодце ребенка, – обратился я к Машке.

– За три дня, в. в., – отозвался за нее отец – ... это от лягуш... это всему миру известно.

Я заметил отцу, что отвечать на мои вопросы, которые не обращены непосредственно к нему, он не должен, и что если он не будет молчать, когда его не спрашивают, то я его вышлю вон. Мужик обещал молчать.

– Ты что скажешь? – опять обратился я к Марье.

– Да то же скажу, в. в., что и все крещеные говорят...

– То есть, что же?

– От лягуш: лягуши во мне развелись. Как лешак-от носил меня лонись, так я из ляги болотной воды напилась.

– Расскажи пожалуйста, как это тебя лешак носил?

– Все тебе рассказывать?

– Все... с краю.

– Да страшно ведь...

– Ничего, все рассказывай... я не боюсь.

– Осенесь, канун кануна Семенова дня... ладно ли я молвила, батюшка?

Тот подал вид, что ему запрещено говорить.

– Собралось нас людно... скотину пошли искать, на Коровий Поворот, – потому все больше туда скотину уводит. Только я мешкотно оболокаюсь... страшно... место такое не баское*. А матушка и осердчай на меня: «Что ты, говорит, сука, копаешься»? «А боюсь, говорю, матушка»! Она говорит: «Не лешак унесет, а и унесет, так...»

При последних словах Марьи, отца ее покоробило. Он не вытерпел и сказал:

– Почто пустяки врать?

– Виновата, – боле не буду, батюшко. Так это я обмолвилась, глупая.

---

* Некрасивое, нечистое.

– Этого и писать не почто, в. б., – сказал мне отец Марьи.

Я напомнил ему, что он обязан молчать и велел Марье продолжать свой рассказ.

– Вот, только пошли мы. Подходим к Коровьему-то Повороту, а мне и захотелось... приотстать то есть...

Тут Марья как будто замялась, но ее на этот раз выручил депутат:

– Ну, известно, девичье дело: его высокоблагородие понимает ведь.

– Ну приотстала, а близко... и голоса все слышны: на сумерках уж было. Догоню, думаю. Только вдруг, как свиснет что-то! Так у меня ноженьки-то и подкосило. Тут опять как завьется вокруг меня вихорь, да меня и подхватило! И пошло....Тут уж меня совсем из памятоньки вышибло...

Марья задумалась.

– Это точно бывает, – заметил депутат.

– Известное дело, Алексей Иванович, – отозвался отец Марьи.

– Не знаю я, долго ли, коротко ли я без памяти была; не знаю, что со мной в ту пору и было. Только, как опамятовалась я, – вижу, на лавке лежу... Хоть и темно было, а я таки осмотрелась кругом; и заприметила я, что лежу ногами к переднему углу; избища матерущая... лес такой красный, кондовый*; все в избе, как есть: и печь, и голбец, и лавки, и стол в переднем углу – все как у крещеных, только на божнице, заместо образов, ставень стоит... Ой, думаю, матушка, почто ты – эк избранила меня!

– Не ляпай пустяков-то, – сказал Марье отец, отворачиваясь сердито в сторону.

– Нет, ведь это бывает, Ефрем Иванович, – заметил депутат.

– А ты, Марья Ефремовна, продолжай рассказывать по порядку, – сказал я.

– Вот, в. б., оглянула я все. Вижу еще, что окна полы, а в окна лес дремучий так и упирается. Слышу я далеко где-

* Боровой.

то, как будто соседи гаркают: «Машка, Машка»! А под окном-то как ухнет какой-то мужик толстым голосом тоже: «Машка, Машка!» Шибко я перепугалась. Перекреститься хочу – не на что...

– Ой ты, глупая... как тебя величать... Марья Ефремовна! – заметил депутат: – да ты бы так перекрестилась... на восток...

– Не догадалась я, глупая, Алексей Иванович!

– То-то, – сказал отец Марьи: – ты поклонись его благородию и Алексею Ивановичу, – тебя добру учат.

Марья отвесила почтительные поклоны мне, депутату и, сверх того, отцу, приговорив последнему:

– И тебе, батюшка!

– Всю правду сказывай, – сказал последний: – как было... ты знаешь меня... а пустяков не ляпай!

– Ладно-хорошо, батюшко! Хайлает он, а я и голосу своим подать не смею. Лежу все на лавке, да слушаю: что, думаю, еще будет! – Только вот, вдруг дверь сама отворилась... это так мне почудилось... Вошла большая такая бабища... еле в дверь влезла. Сама несет подойник с молоком. Как это, думаю, ничего не стукнуло, а дверь сама собой отворилась? Только уж после заприметила, что у них дверь-то в избу отворяется.

– Вот как! – заметил депутат, очень заинтересованный рассказом Марьи: – я еще этого не слыхал, – а, верно, так.

– Так, точно так, Алексей Иванович, – отозвался Ефрем Иванович.

При этом Марья мельком улыбнулась, и стала продолжать.

– Вошла она, а сама на меня и не глядит. Поставила подойник на лавку и в голбец пошла... заскрипело так. Вышла потом из голбца с кринками и молоко разливать стала. Уж не знаю я, Алексей Иванович, – обратилась Марья к депутату, – свои ли у них коровы, али наших они выдаивают?

– Говорят, и свои есть; а только я, брат, не знаю, – отозвался Алексей Иванович. – Сам тут не был я, в. в., – добавил он, обращаясь ко мне.

– Не знаю уж я, Алексей Иванович, а только вдруг входит в избу большой такой мужик. И не перекрестился, и не присел; и говорит этой бабе: «Вот я тебе работницу принес: не обидь». «А коли будет робить, так и от меня обиды не будет», сказала лешачиха... Я уж вижу, Алексей Иванович, куда я...

Тут Марья заплакала, утирая глаза рукавом.

– Это точно бывает, в. в., – обратился ко мне депутат.

– Точно, точно бывает, – сказал Ефрем Иванович.

– Что же дальше было? – спросил я Марью.

– «Садись, говорит, к зыбке: обменка качай». Гляжу – и вправду зыбка висит, а в зыбке младен лежит и ревет... жалостно таково.... Я встала, перешла к зыбке, стала качать, – а младен и затих... «Ишь, говорит лешак, чует крещеную кость! Даром, что обменок». «Ой, сказала лешачиха, не люб мне этот обменок: другого бы мне». «А где я возьму? Нет ныне», говорит лешак. – А я знай качаю. Опять, слышу, наши кричат: «Машка, Машка»! «Постой ужо, говорит лешак лешачихе: «Надо отвести». Сам пошел. Я опять слышу, как наши меня гаркают... и столь близко. А потом все тише, тише, да и совсем неслышно стало.

– Ну, так и есть: отвел, – опять вмешался депутат. – А тебе бы, глупой, тут-то и перекреститься.

– Не смела при них-то, Алексей Иванович.

– Ну, так сама виновата.

– Да уж знаю я теперечи это; а что делать – близок локоть, да не укусишь. – Только вот воротился лешак. «Ужнать давай», говорит лешачихе... «Домой пошли...» Это про наших-то он сказал. Лешачиха собрала на стол; только скатертки не постлала, а так... на голый. Сели они, а ни рук не помыли и не благословясь. И меня зовут: «Иди, говорит, лешачиха, и ты садись».

– Не хочу, – я говорю, – тетушка. «Ну, говорит, не хошь, так как хошь: губа толще – брюхо тоньше». А сами, слышу, так за обе щеки и уписывают.... и ложек не облизывают.

– А что они ели-то? – спросил депутат.

– А кто их знает, Алексей Иванович: хоть и темно было, а огня они не вздували. Сперва она что-то из печи достава-

ла, – я не знаю что, – а потом молока, кажись, из голбца приносила... так из кринки прямо и жрали. Как пришло им вставать из-за стола, лешачиха опять мне говорит: «Ешь, коли хошь: я и убирать не стану, да и обменка-то накорми». А я и говорю: ешьте сами-то во здравье. – Как сказала я это, лешак встал из-за стола и вышел из избы, да как захохочет: «Хо, хо, хо, хо, хо»! А там широко по лесу стали откликаться другие лешаки: хо, хо, хо, хо, хо! Трескоток по лесу пошел. А этот потом заголосил: «Ешьте во здравье! Ешьте во здравье»! Ну, и другие там тоже: ровно петухи перекликаются. Потом этот-то подошел к окошку, да как свиснет, да как ухнет, – тут уж, сама не своя, я перекрестилась... И вдруг все пропало!

– Ну, так вот то-то же и есть, – заметил депутат, нетерпеливо поворачиваясь на лавке.

Марья, как будто не обращая на это внимания, продолжала:

– Вдруг очутилась я.... как уж и сказать?.. С той стороны колодина, с другой – пень; там – сук в рожу упирается; там – в спину чем-то колет. И мокро, и студено. Нельзя пошевелиться. Всякий суставчик, всякая косточка болит... намял, видно, окаянный. А теметь такая вокруг. Лешаки все гаркают. Вот это лежу я и думаю: дождусь красна-солнышка, а там что будет. Долга мне, в. б., эта ноченька показалась: ни другу, ни недругу, ни злому татарину не хочу я напасти этакой. Только вот красна зорюшка зарумянилась. Перекрестилась я, да и давай колоды отодвигать, сучья ломать, разный сор выбрасывать... И вот, как взойти солнышку – я совсем выскреблась. Слышу, птички трепещутся... чирикают. А я! Пересохло мое горлышко: пить охота страшная! Вот и поползла я.. . Доползла я до ляги, – вот, где и нашли меня крещеные... Как доползла – и напилась. Горька мне эта вода показалась!

– А перекрестилась ли ты перед тем? – спросил Марью депутат.

– А уж и не помню, Алексей Иванович: сам видишь... не в уме была. – Только как напилась, так на животе-то у меня и заурчало что-то, а вокруг, на заре-то, так лягуши и ква-

кают, а лешаков уж не слышно стало. Вот пригрело меня солнышком, я и забылась; и долго, долго спала: только под вечер разбудилась; слышу, наши ищут меня.

Тут Марья остановилась.

– А как лешачиха-то ходит? – спросил ее депутат.

– А просто, Алексей Иванович: от наших баб почитай не отличишь: только шары* у нее шибко велики мне показались. И лешак-от тоже.

– Ну, лешаков-то уж мы знаем, а вот видока на лешачиху-то мы не встречали. Да, это она верно сказывает, в. в., – заметил мне депутат.

– Так точно, Алексей Иванович, – отозвался отец Марьи.

– А как же, – спросил я, – какая-то Пушка сказывала соседям, что перед тем, как ты пропала, видела, что тебя манил Сенька Буторич и потом был близ тебя.

– Никакого Сеньки не видала я, ваше благородие... не помню: может, ей так показалось.

– Это может быть, в. в., – вступился депутат: – ведь лешак и за́все в какого-нибудь знакомого оборачивается. А велика-ли эта Пушка-то? – спросил он отца Марьи.

– Да недоросток еще, Алексей Иванович, – отвечал тот, – годов двенадцати, не знаю, будет ли.

– Так что, – заметил Алексей Иванович, – может, большим-то и не видно, а от младена не укрыться нечистому.

– Это верно, Алексей Иванович, – заметил отец Марьи.

– Теперь объясни мне, Марья, отчего у тебя живот вырастал? – спросил я

– Неужто ты еще не догадался, в. б.? – отведала Марья.

– Нет.

– А старые-то люди говорят, от того, что, не благословясь, воды из ляги напилась. Это точно правда. После того, как подняли меня в лесу-то, за́все стало на животе урчать, а ину пору слышу, как будто что-то там поворачивается. Там смотрю, и брюхо прибывать стало: ой, думаю, что это со мной доспелося? Батюшку с матушкой, всех соседей спрашиваю: а что, говорят, либо от лягуш, либо от змей.

---

* Шары – глаза, глазища.

– А как же потом опал у тебя живот?

– А богомолка... странница пособила, в. б. Дай ей, Господи, много лет здравствовать!

Тут Марья перекрестилась.

– Как же она тебе пособила? Все рассказывай, как было.

– А вот как, в. б. Зашла к нам эта странница... сперва она сказывала, будто думала, что у нас монастырь, али икона какая явленная, потому что волость Монастырек прозывается, – да врет: я ужо после расскажу, почто она к нам пришла. Такая просужая, речистая... ровно соловеюшко без умолку поет: все про угодников, да про Иерусалимы рассказывала: где какие чудеса сотворились, где какие озера есть, где как у угодников рученьки сложены, где из камня вода сама собой пробивается, где из какого образа масло течет... все этакое, да по-хорошему. – Живет она у нас день, живет другой; где она, тут и мы собираемся... все слушаем. Только, вижу я, она на меня все как-то этак посматривает, а почто – спросить не смею. Стану этак стороной речь пригонять, а она, будто нарочно, на другое вдруг переведет, а на меня все смотрит, да головушкой про себя покачивает. – Всех она у нас ублаготворила: всякому про его ангела все рассказала... Такая ей честь была! Перед походом уж она и к нам пришла... Мы ее всем... да она ничего не пьет, не ест, окроме постного. Сварили мы ей на дорогу уху из харьюза, так и той съела ли, не съела ли с полчашечки; только трубочку полотна ввернула же я ей, так что и сама она этого не заприметила. Тут, почитай, вся волость собралась, и всякий ей пихает кто гривну, кто пятак серебра, кто два пятака, а кто и боле того... чтобы ихним ангелам, как дойдет до которого, так бы либо свечку поставила, либо молебен отпела. А все медью давали. Ой, говорит, христиане, как я донесусь с этим: ведь мне многие тысячи верст странствовать; да как бы и не потерять. Лучше, говорит, вы сами здесь... все равно молитва-то до Бога дойдет. Так нет, пристали все к ней: нет, говорят, самому-то угоднику, так все виднее будет! Лучше мы тебе на бумажки обменим. Взяли у нее медные, сбегали к старосте церковному, и принесли все бумажками. Только вот собралась она; помолилася, со

всеми попрощалася – и поплыла! Я опять ввернула ей серебряный двугривенничек: загодя* припасен был. Всей волостью пошли мы провожать ее до очапа**. Вот, дошли. Опять она со всеми вконец распрощалася. Все и пошли. А мне говорит она: «Попроводи-ко ты меня еще, сестра... мне тебе надо словечко сказать». Взяла я это у нее котомочку, и пошли мы с ней в волок. «Знаешь ли ты что, сестра?» – вдруг спросила она меня.

– Нет, – говорю я, – сестрица, не знаю: я человек простой...

– А ведь нездорова ты?

– Ой, шибко нездорова!

– Знаю я, чем ты нездорова: у меня у самой это бывало.

– А как так, матушка?

– А вот как. Шли мы по один год этак же от Соловецких к Селиверсту, новому чудотворцу. Людно было нашей сестры-странниц; ну, и странники были же. Вот, и пристал к нам детина, из купцов сказывался, из какого-то города вашей же губернии. По обещанью шел к угоднику. Разговор такой! И начетчик большой... почитай не хуже нашей сестры все знает. Вот, идет он с нами, и все на меня поглядывает; а сам черноглазый, чернобровый такой. Страшно мне стало. Вот, ведь, кажись, и все бы тут. А нет! От Селиверста преподобного пошли мы все к Белозерским. А он, не знаю, там ли от нас остался, али домой вернулся, – только идем мы, а мне все непоздорову. Потом вижу, вот как у тебя же, стал и живот прибывать...

– Так как же ты, матушка?

– А пообещалась я сходить в семьдесят монастырей, в семьдесят пустыней, к семидесяти явленным образам Богородицы. Как обошла я семь монастырей, семь пустыней, помолилась семи Богородицам, и стало у меня все мене, да мене. А теперечи, видишь, и совсем пропало, – а еще не обошла я все то, что обещалась. И к вам ведь, сестра, я как попала? Слышу, ваша волость Монастырек слывет. Я и ду-

---

* Заблаговременно.

** Рычаг, посредством которого отворяются ворота в поля.

маю: заверну... все обещанью исполненье, каков ни есть монастырек. Только и вижу я сон... Ты когда имянинница бываешь?

– На Марью Магдалину, грешница! Такое уж поп прозвище дал.

Странница усмехнулася, да и ответ держит:

– Так и есть: твой ангел мне во сне снился: «Гряди, говорит, в монастырек. Там отыщи девицу и помоги ей. Это тебе за все обещанье засчитают на небе». Вот как я к вам попала! Могу тебе помогчи, вот как и себе помогла.

– Да у тебя, матушка, с глазу было, а у меня ведь не то...

Тут я и рассказала, так же, как и твоему благородию. Только, как договорилась я до того, как меня вихорь подхватил, она перебила меня:

– Знаю, знаю, – говорит. – У вас сторона лесная – тебя лешак носил. Так неужто ты с лешаком-то?

– Нет, матушка: что ты! От этого-то сохрани меня, Господи!

– Да ведь с него, с окаянного, не что возьмешь.

– Нет, матушка.

Тут стала я ей дальше размазывать, опять по тому же, как и твоему благородию; а она знай поддакивает только: «Так, так, говорит, знаю, знаю! бывает это». А как договорилась я до того, как из болота воды напилась, она так и охнула.

– Ой, – говорит, – сестра! Ведь не по-хорошему ты это сделала! Лучше бы не пить тебе, а перетерпеть бы как-нибудь.

– Что делать! Ныне и сама вижу, что не след бы, да, видно, близко локоть, а не укусишь!

– Не змея ли в тебе завелась?

– Нет: от змей нас Бог помиловал.

– Ну так, видно, лягушки развелись. Как можно из болота пить! Вот и мы, странные, как идти в долгой волок, так все берем ключевой водицы не то в бутылочку, не то в туесок по-вашему*.

* Берестяный бурак.

– Не знаешь ли, матушка, чем бы мне помогчи?

Богомолка подумала, подумала, да и говорит:

– Вот что. Не обещалась ли ты кому?

– Ой, нет! Смеялись этта надо мной девки-то: Буторичем корили, да врут!

– Нет, не Буторичу, а какому-нибудь угоднику?

– Нет, и угоднику никакому не обещалась.

– То-то. Бывает Божие попущение, когда кто обещанья не исполнит: великий это грех!

– Нет, матушка, на мне такого греха.

– А потрудись ты: пообещайся, да и сходи хоть в Киев, а не то еще лучше, 500 верст за Киев, к Почаевской Божией Матери: большие чудеса там ежеден бывают!

– Нет, матушка, не можно этого. Пообещайся я, а наши, знаю, что не отпустят; а пообещайся, да не исполни, так еще больше распучит. Помоги ты мне лучше иным чем, коли уж ты про меня виденье видела.

– Знаю, знаю... делать нечего... полюбилась ты мне, ласковая... ты мне и котомочку понесла... и жаль мне тебя... Только смотри, до времени никому не сказывай – лучше муку вытерпи: ни про виденье мое, ни про то, чего я дам тебе.

Тут стала она в своей котомке копаться, и вытащила маленькую такую бутылочку – так с косушку – и на бутылочке этой слова какие-то написаны. Вытащила, перекрестилась, и говорит:

– Вот, эта водица дороже для меня злата-серебра, всякого каменья самоцветного: в этой водице разведена слезка Пресвятой Богородицы Троеручицы. Возьми, глони глоточек, благословясь, да с верой.

Вот глонула я немного; подала богомолке бутылочку, а на животе-то у меня так и заворочалось.

– Ну, что? – спросила странница.

– А разве не слышишь?

– Как не слышать,– слышу. Теперь иди с миром. Спасибо тебе за ласку. Только смотри же, молись теперечи и денно и ночно Троеручице Пресвятой Богородице да, как можно, постись. А про виденье и про это никому не ляпай.

– Ладно, ладно! Только дай ты мне еще глонуть для верности.

– Ой, ты, неразумная! Ведь этого все равно, хоть море выпей, хоть каплю единую глони – лишь бы вера была.

– Да верить-то, матушка, я верю... как не верить! Знаю ведь я, как не поверишь, так и не поможет. Только в том сомневаюсь я: не мало ли.... дошло ли до утробы-то?

– Как же не дошло: я ведь слышала, как у тебя заурчало.

– Да заурчать-то оно заурчало, да думаю, не от другого ли чего?

– Ой, ты, сестра неразумная! Ведь не гороху же ты объелась. Иди с верой, да делай, как я учила.

Вот распрощались мы с богомолкой. Пришла я домой, да и ну Богу молиться! И день и ночь – все поклоны бью... до шишки на лбу наколотилася. Свои не надивятся:

– Что ты, девка, шибко богомольна стала? Не в монастырь ли за богомолкой идти собираешься?

– Молчите ужо! До времени не велено сказывать.

Только все боле и боле пучит меня; боле и боле в животе урчит, да ворочается; все боле и боле молюсь я Пресвятой Троеручице; пить, есть совсем перестала. Потом меня вконец из силы выбило, и мутить стало. Инда матушка испугалася: «Что ты, девка, говорит?» «Ой, говорю, ничего: дайте мне одной еще Пресвятой Богородице помолиться, как богомолка научила меня». – Где еще засветло уползла я на повет в горницу, и как доползла – так на постелю и мякнулась! Долог час я мучилась. А потом уж меня и из памяти вышибло. Опамятовалась я, как уж широко рассветало. Вижу – по горнице все лягуши скачут.... большие такие! Ой, думаю, как да опять влепятся! Закричала я не своим голосом. Прибежала матушка, да так и охнула. Давай лягуш выгонять, а те, знай, скачут в разные стороны, да шлепают. Побежала матушка по соседей. Пришли соседи. Всех лягуш перебили, затопили печку в бане, да туда их и бросили. Так вот отчего у меня, в. б., живот пучило! Вот как я лягуш выжила!

– А чем же у тебя лягуши вышли? – спросил я Марью.

– Известно чем... горлом, надо быть: и теперь еще так и зудится в нем. Ой, в. б.! Лихо мне было! Так лихо, что и теперь лютому врагу-татарину закажу воду пить болотную! Правду ли я тебе сказываю – допроси соседей, всех до единого: все они сами видели. Дай батюшко скажет: он надо мной и молитву читал и святой водой кропил; он велел и лягуш-от не в избе, а в бане сожечи: опоганят, говорит...

Марья кончила свое показание. Я прочитал ей записанное почти слово в слово:

– Так ли?

– Точно так, все как есть, – в один голос сказали и она, и ее отец, и депутат.

Последний сказал мне комплимент по тому случаю, что я записал показание собственными словами допрашиваемой.

– Прежде, – заметил он, – не так водилось: когда следствия производили исправники да заседатели, так показания от себя, из своей головы писали; а тут не урвешь: как есть! – Ну, брат, и ты, Марья, бой-девка! Другая бы так испугалась, а ты, как есть, все обсказала... право! – прибавил Алексей Иванович, обращаясь к Марье, видимо, довольный ее показанием.

Марья улыбнулась.

Я приостановился производством следствия, чтобы напиться чаю. Опять собралось наше чиновничье общество вокруг стола. Пришел к нам и добрый священник, и принес трех больших харьюзов на уху к ужину.

Во время чаю было рассказано несколько анекдотов о похождениях и проказах леших, один другого занимательнее. Между тем, доктор и становой, ввиду увесистых харьюзов, согласились, пока я окончу следствие, подождать меня. – Покончив чай, все, кроме меня и доктора, отправились гулять по окрестностям.

Я допросил отца и мать Марьи. Они подтвердили показания дочери; но мать заперлась в том, что посылала дочь к лешему.

Семен Буторин также не сообщил ничего нового, кроме того, что когда, канун кануна Семенова дня, он пошел на посад, так его тоже лешак водил.

– Как же он тебя водил? – полюбопытствовал я.

– Да ведь как? Известно, как водит.

– Все-таки ты расскажи.

– А вот так, в. б., – начал Сенька весьма развязно. – Пошел я на посад – работы на зиму искать.... да сдуру-то выгадать хотел: не по дороге пошел, а прямо лесом. Думаю – что? С нами крестная сила! Вот это иду. Уж верст с пяток за Коровий Поворот этот подался... только вдруг вижу –догоняет меня мужичок. Поздоровкались. Вижу, рожа ровно знакомая.

– Здорово, знакомый, – говорит.

– Здорово, – говорю: – да как тебя по имени-то звать?

– А неужто не помнишь, как мы лонишную зиму у Степана Полиевктовича на заводе робили?

– Да с рожи-то ты мне приметен; только прозвища на память не возьму.

– Да неужто не помнишь Олеху с Рогачихи, голова?

– Ой, лешак тебя возьми! И вправду Олеха. Да куда тебя лешак несет этим местом?

– А на посад пошел... на зиму хозяина искать.

– Так пойдем, Алексей: вдвоем веселее будет. Найдем ли только, паре, работу?

– Как не найти! Слышно, ныне будет работы завально.

– Ладно бы это.

– А нет ли, Сенька, у тебя табаку понюхать?

– Ой, голова! Разве не знаешь, что я не нюхаю?

– Так-то так, да шибко охота; а свою тавлинку* потерял.

Вот, идем мы с ним; только я примечаю, что не так идем.

– Паре! Ведь неладно мы идем.

– Что ты, голова! Мне ведь не впервой здесь... знаю ведь я.

Попошли мы еще; я уж по солнышку вижу, что неладно идем.

---

* Берестяная табакерка.

– Нет, брат, стой, Алексей, не водит ли нас? Не на той стороне солнышко закатывается.

– Да ведь поводит, поводит, да и отстанет: дале посада не заведет.

– Нет, постой: ужо-ко я перекрещусь.

Как перекрестился я, Алексеюшко мой стал расти да расти, да и загагайкал: «Догадался! Догадался!» Только смотрю я вокруг... опознаюсь.... вплоть за Коровьим Поворотом очутился. – Домой идти – облают... не поверят. Взял, да и пошел напрямик: думаю, будь, что будет. Подался я верст пяток, да так в лесу и ночевал. – Так вот, в. б., хотел выгадать верст десяток, а прогадал пятнадцать!

– А не встретил ты в это время Марьи?.. Она тоже тут тогда заблудилась.

– Нет! До девок ли мне тут было? С Машкой-то я и ранее то почти что не видался.

Наконец призвал я к допросу маленькую Пушку. Она оказалась Пульхерией. Это была девочка лет тринадцати. Она тоже пришла с отцом.

– Как Машка пропала лонись, ты была тут? – спросил я ее.

– Как не быть! Была.

– Видела, как к Машке Сенька Буторич подходил?

– Да это лешак из Коровьего, а не Сенька. – Сеньки и близко тут не было.

– Да ведь ты раньше говорила, что видела в то время Сеньку?

– А это мне так показалось.

– А может, и вправду Сенька был?

– Нет! Как наперво я его увидела, так ровно Сенька... манит, а после, как он перебежал с другой-то стороны, так больше стал. Как вырос он, да загагайкал – только уж тут я догадась.

– А ты не врешь?

– А почто врать? Не вру я.

– А врешь! – раздался откуда-то знакомый уже дискант: – смотри, как дьяволы-то тебя на том свете за язык повесят! Ты раньше про лешака не поминала?

– Ну, ты! – сказала, круто повернувшись, Пушка. – Смотри, тебя-то бы не повесили!

Я кончил допросы. Мне оставалось выполнить самое неприятное для меня следственное действие – освидетельствовать Марью через врача и женщин-экспертов; так как мы с доктором в вольнодумстве пошли еще дальше пьяного монастырского пономаря: мы убеждены были, что не лешак ее носил и не от болотной воды у ней живот вырос. Я должен был взять на себя инициативу официального посягательства на честь девушки, пользовавшейся в общественном мнении доброю репутацией. Хотя я и был уверен, что такое мое распоряжение будет оправдано перед законом и судом результатами его; но мне тяжело было возмущать нравственное чувство всего населения этого дикого захолустья. Сам Алексей Иванович, только скрепя сердце и ввиду необходимости, согласился подписать постановление. Во избежание скандала, я предполагал было вызвать Марью в город и там освидетельствовать ее со всеми предписанными законами формальностями; но доктор объявил мне, что в таком случае будет пропущено время и освидетельствование не даст столь решительных данных для заключения, на которые он теперь рассчитывает. – Делать было нечего. Марью осмотрели две женщины. Они объявили, что хотя и нашли все признаки разрешения от бремени, но к этому, не на вопрос, присовокупили, что, может быть, это и от лягуш, что, может быть, лягуши и не через одно горло выходили.

На такое заявление Марья сказала, что она в то время без памяти была, так против этого не спорит, и что если раньше иначе думала, так потому, что после того, как из нее лягуши вышли, у ней только в горле скребло.

– Нет, уж как, голубушка, – сказала одна из женщин, – не скребло! Везде, поди, скребло, да ты с переполоху-то не расчухала. Вот ведь какие притчи бывают!

После этого, по закону, я должен бы был отправить Марью в острог; но, рискуя маленькою ответственностью, отдал ее отцу на поруки.

Само собой разумеется, что для Марьи этим дело не кончилось: я представил его в уголовную палату, которая тотчас же распорядилась о заключении обвиняемой в тюремный замок, а мне прислала указ, в котором между прочим было сказано: а судебному следователю Попову велеть указом, дабы он на будущее время ни под каким предлогом не осмеливался уклониться от точного исполнения предписанных законом правил о пресечении обвиняемым способов уклоняться от следствия и суда и не руководствовался личными своими убеждениями, что в настоящем деле достаточно отдачи на поруки и т. д.

Впрочем, при решении дела, палата переложила гнев на милость: по обвинению в детоубийстве, она Марью оставила свободною, за неимением улик, а по обвинению в незаконном прижитии ребенка оставила в сильном подозрении. Надобно полагать, и палата убеждена была, что от Сеньки лягушам быть не почто... парень, как есть...

V.

НЕ СРЫВАЙ ПЛАТКА С БОМБАРДИРШИ!

Раз, по одному делу, привелось мне заехать в Т. волостное правление или приказ удельного ведомства, как говорится там по старой привычке и как я буду говорить. Остановившись в здании приказа, я нашел здесь кое-кого из волостных начальников, но должен был долго ожидать подлежавших допросам крестьян, так как в то время началась жатва, и весь народ был в полях. От скуки, я ходил на реку выкупаться, причем заключил с ватагою мальчишек условие, в силу которого они обязались выловить для меня всех раков в реке, а я – заплатить им за то по копейке на брата. Контрагенты мои тотчас же приступили к исполнению своего обязательства, а я, полагаясь на их совесть, пошел в приказ. Дорогой мне встретилась какая-то баба, чисто одетая и еще молодая. Поравнявшись со мной, она остановилась и приветствовала меня по-военному:

– Здравия желаем, ваше благородие!

– Здравствуй, матушка. Ты имеешь до меня какое-нибудь дело? – спросил я ее.

– Имею, имею, в. б.

– Какое же у тебя дело?

– А разве тебе наши-то разбойники-то не донесли?.. мироеды-то?

– Какие это разбойники?

– Да старшина-то эта ихняя.

– Не знаю. Как твоя фамилия?

– А фамиль-то у меня ноне не какая-нибудь: Ершихой прозывают, в. б.

– Не помню я такого дела; да скажи, в чем оно?

– А опростоволосили! Вот ведь какое у меня дело-то!

– Такого дела у меня нет. Да как же это опростоволосили?

– А вот так! Да еще принародно: вот ведь что, в. б.!

– Все-таки я не пойму, в чем дело.

– А вот пойдем в приказ. Я ведь и при них все разбрякаю... Я не боюсь их: мне что!

Мы пошли, и дорогой Ершиха сообщила мне следующее:

– Ты, ведь, в. б., государев человек, и я тоже: так ты скорее по мне потянешь, чем по ним. Они тоже прежде государевы, удельные были. А, вот, зимусь, государь от них отказался – указ такой выдал: не надо, говорит, мне вас... разбойников этаких. Ну, а я-то как была государева – так и осталась. Так вот они из за этого-то на меня и стали налегать.

– Как же так только ты одна государева осталась?

– А, вишь ты, мужа-то моего в солдаты взяли, так он тоже самому царю служит... присягу принимал. Да он уж теперь до большого чину дослужился. И поначалу-то он не в простые солдаты попал, а в матросы. Еще тогда все надо мной смеялись: эй ты, матроска-смоленая..! А теперь он уж чин получил другой... мудреной такой, что и не выговоришь: бан-мандел ли, как ли?

Ершиха засмеялась, не знаю, над собой, или над названием мудреного чина.

– Ну, да как придем в приказ, так я тебе грамотку покажу, – сам увидишь, – сказала она.

Мы пришли, и она подала мне какие-то бумаги, донельзя засаленные и отчасти изорванные. Первая оказалась черновым прошением в Т. волостное правление. В прошении этом значилось, что просительница–матроска Авдотья Ермолаева Ершова, что она жалуется на крестьянина одной с ней деревни Петра Егорова Молчанова, который, без всякого с ее стороны повода, во время храмового праздника, на улице, принародно сперва обругал ее всякими непотребными словами; когда же она не сказала ему против его брани ни одного слова, принародно же сорвал с головы ее платок, начал таскать за волосы и всячески немилосердно бить, похваляясь зашибить до смерти и, может быть, зашиб

бы, если бы ее не отняли бывшие тут имярек, на которых просительница и ссылается, как на свидетелей.

– Да эта просьба написана в волостное правление, так ты и подай ее туда или, все равно, в волостной суд, – сказал я Ершовой, прочитав прошение.

– Подавала я, да что в том! Вишь, они все по нем, по Петрухе-то тянут: им от государя отказали, так они государевых людей и стали нажимать, а за своих-то разбойников стоят. – А я на ихний-то суд плевать хотела, а то и хуже – только при твоем благородии молвить непригоже. Вот что!

– Ну, плевать не следует.

– Да я ведь это только так говорю, для примера...

– Однако ж, ты подавала эту просьбу в ихнее же правление?

– Подавала; только не эту. Да и в той, в другой-то то же выписано.

– Так что-нибудь тебе объявили же?

– Промололи что-то; да не так... неладно! Я уж и прошенье-то просила назад, – хотела подать кому-нибудь из городских начальников... та была не столь запачкана... да не отдают разбойники! Прими уже эту, в. б. Да заступись за меня: я государев человек, как и сам ты.

– Матушка! Да ведь это такое дело, что его волостной суд решает, и жалобы нет, если не было какого-нибудь нарушения порядка.

– Было, было порушенье. Все не по порядку сделано!

– Ну, погоди, – я узнаю.

Я позвал писаря.

– Было производство по этой просьбе? – спросил я его.

– Как же-с, – было.

– А чем кончено?

– А вот я книгу принесу-с.

Оказалось, что суд, обвинив Молчанова, приговорил его к аресту на неделю и к денежному штрафу в мирской капитал.

– Ну, так что же тебе, матушка? – обратился я к Ершовой. – Видишь, Молчанов наказан.

– Врут это они, врут, в. б! И пальцем не дотронулись; а не то, чтобы хорошенько взъерепенить...

– Да ведь он из-за тебя в арестантской сидел, и еще штраф заплатил. Чего же тебе еще?

– А что, что заплатил? А в ихнюю же казну. Мне от того не легче...

– Ну, под арестом сидел.

– И не сиживал он ни под каким под арестом. Врут все!

– То есть здесь, при правлении неделю высидел, за замком.

– Врут, врут это они. Все по воле ходил: я сама сколько раз видала. Еще надо мной же смеется. Да наплевала бы я на это: мне хоть сиди он, хоть не сиди – все однако! А он мне плат на голову накинь: умел сорвать, так умей и накинуть! Вот что, в. б. Я не какая-нибудь, а мужняя жена.

– Да будто самой тебе тяжело надеть?

– Тяжело – не тяжело, а он сорвал, он опростоволосил – он и голову накрой. Мне без того в храм Божий нельзя ходить. Хорошо, что батюшка разрешил: ходи, говорит... ничего!..

– Ну, да ведь ты так-то, я думаю, носишь же его?

– И не надевывала! Сохрани меня, Мати Пресвятая Богородица, от сраму этакого! Ношу, да другие – есть их у меня, слава Тебе, Господи! А того не надену; и не взяла и не возьму руками, покуда сам Петруха не накинет.

– Где же твой плат?

– Да где? Надо быть, здесь, в правлении, как не пропили.

– Ну, вот ты сама неладно говоришь, матушка.

– А почто неладно? Они не по правилу судят, а мне что? С меня что возьмешь? Я – государев человек. Как бы мне до самого-то царя дойти, так он их всех духом бы в тартарары сослал. Самим бы им так насмолили... узнали бы они матроску смоленую... Только идти далеко!

Я осведомился у писаря о платке Ершихи, и оказалось, что он действительно в правлении, но она не соглашается взять, если Молчанов сам не наложит его ей на голову, а Молчанов на то не соглашается. – Я дал слово матроске по-

хлопотать об исполнении ее желания. Она, видимо, осталась довольна и тотчас же предложила принести мне малины; когда же я отклонил такое предложение, она, в видах поощрения и как бы по секрету, сообщила мне некоторые сведения о своем муже:

– Ведь отчего я, в. б., воюю с ними? На мне не что возьмешь! Я уж проляпалась было тебе, что Ерш-от мой у самого царя служит.

Тут Ершиха близко подошла ко мне, ткнула пальцем в плечо и чуть не на ухо сказала:

– На одном, чуешь, корабле с царем-то плавал: так ему просто! Так де и так, царь милостивый!... Обиждают-де... Насмолили бы им! Не веришь, в. б., так сам вычитай грамотку: я тебе вместе с той отдала... с прошеньем-то...

Эта грамотка была письмо Ершова к жене. – Я стал читать его про себя.

– Нет ты вслух, в. б., да потихоньку, чтобы разбойникито эти не знали, – пусть их!

Ершова, говоря последние слова, погрозила кулаком на дверь, ведущую в комнаты, занимаемые правлением. Я начал читать вслух; как водится, письмо начиналось поклонами. При каждом поклоне Ершова с чувством замечала:

– Вишь ты, как выписывает!.. Золотые рученьки!

– Золотые рученьки! – сказал я ей; – да он ведь не сам пишет: за него кто-то другой руку приложил. Значит, он неграмотный?

– Так что? Все его же басни писаны.

Когда же я дочитался до поклона Молчанову – «другу моему любезнейшему», то Ершова сказала громко:

– Ну, вот этому-то не почто бы. Да не знает ведь он этого.

– Сказала ты этот поклон?

– Сказать-то сказала... нельзя не сказать, коли в письме написано, а только от себя прибавила, что не почто бы.

Существо письма заключалось в postscriptum. Здесь Ершов прежде всего уведомлял жену, что он плавал на одном корабле с Императором и с Великим Князем, и что Император пожаловал ему награду.

– Вишь ты! Не правду ли я тебе сказала? – заметила Ершова шепотом, толкая меня в плечо.

Далее Ершов писал, что у него теперь под начальством сто человек.

– Эко место! – опять громко сказала Ершова. – Боле ста человек! А поди все говорят: здравия желаем, в. б! Сказываюсь, у нас и в городе-то всех солдатов эстолько не наберется.

Потом в письме было объяснено, что, по случаю такого повышения, Ершов очень в деньгах нуждается, потому что теперь, из анбиции, надобно и мундир завести не то, что у простого матроса: так нельзя ли-де сколько-нибудь прислать на подмогу, – а после он и сам не оставит.

В конце письма написан адрес: «№№ флотского экипажа бонбандеру, имярек, в Кронштат».

На это моя собеседница не сделала никакого замечания. Зато я, в свою очередь, спросил ее:

– Что же, ты денег-то послала?

– Нет. С кем пошлешь? Не прилучилось такого верного человека. Да опять и послала бы я, да мало-то на что ему? Не посылать же ему рубль, коли он в начальники этакие вышел, коли у самого под началом боле ста человек, да от самого царя награды получает. А много-то мне где взять?

– Да ты бы хоть простое письмо послала, – хоть и без денег....

– Без денег-то?

– Да.

– Послала, послала. Только от Петрухи поклона не сказывала; а велела написать, что меня опростоволосили.

– Давно ли ты послала?

– А не так давно. Тут богомолка приходила, так с ней.

– С богомолкой?

– А что?

– Да твой муж не получит: ей не увидеть его.

– Почто не увидеть! Она каждый год всех угодников обходит.

– Если не врет, так правда. Да только дело-то в том, что в Кронштате, где твой муж служит, и угодников-то вовсе нет.

– Как нет, коли туда сам царь наезжает? Не на простой-же образ он молится.

– Да нет.

– Не обманет же богомолка: она и в старом Ерусалиме была, и в Новом. Пятно на руке показывала, синее такое! Это ее в Старом Ерусалиме запятнали, что была-де там. Эта обманет ли? Она у нас двои сутки жила.... все о чудесах рассказывала. Ей и самой во сне святые снятся. Я ей и на дорогу-то дала. А она хотела и деньги-то снести, – да только я не надумала.

– Нет, это письмо не дойдет. Тебе бы лучше на почту положить.

– Эк ты, в. б! Да до городу-то ведь полтораста верст!

– Ну так что же? Из правления каждую неделю ездят в город...

– С этими-то разбойниками!... Сохрани меня Царица Небесная! – воскликнула Ершова, кладя на себя большой крест.

– Ну, теперь ты иди; а там я за тобой пошлю: плат на тебя наденут.

Бомбардирша ушла в веселом настроении.

Я позвал помощника старшины.

– Народ никак весь готов, – сказал тот, входя. – Да на улице ребятишки с раками.... говорят, вы приказали наловить.

– Прекрасно. А между тем, у меня есть до тебя просьба...

– Что прикажете, в. в. б.?

– А вот что: не уговоришь ли ты Петра Молчанова, чтобы он надел на эту солдатку платок? Ему, если он не дурак, это ничего не стоит, а вам будет лучше, потому что Ершиха говорит, что он уходил из-под ареста. Может быть, это и неправда: а все лучше, как дела не будет...

– Сколько угодно, в. б., хоть три плата, так наденем.

– Ну, хорошо. Теперь пусть войдет сюда народ и я сейчас приступлю к делу, а между тем пусть кто-нибудь сходит за Ершихой и Молчановым.

Я вышел на улицу. Там меня дожидалась толпа мокрых крикунов, которые в подолах грязных рубашонок держали множество раков.

– Всех ли выловили? – спросил я.

– Всех, в. б., – отвечал предводитель толпы, по-видимому, старший летами.

– А вре! – возразил кто-то: – один у Егорши в омут ушел.

– Молчи, – сказал нескромному товарищу предводитель сердито, но вполголоса. – Только ты, в. б., нам деньги отдай всем, а Егорше не давай, коли упустил...

– Ну, ничего: я и ему отдам. Только отнесите сперва раков к сторожу.

– Да и рачонок-от был пустой, – ровно муха какая, – заметил кто-то в толпе, вероятно, Егорша.

Ловцы, сложив, по указанию, добычу и получив деньги, с веселыми криками разбежались в разные стороны.

Сделав несколько допросов, я получил от помощника старшины известие, что Ершова и Молчанов пришли. Их позвали.

– Что же, Молчанов, наденешь на нее платок? – спросил я его, указывая на Ершиху.

– Почему же нет, в. в. б?

– Ну так идите в сборную, и там ты, Молчанов, наложишь его на нее.

– Да тут не все наши собраны, в. б.! – возразила Ершиха.

– Не все ваши! А зато сколько из других деревень? Везде разблаговестят: вот какова у нас Авдотья Ермолаевна! Добилась-таки своего!

Слова мои подействовали на Ершиху, и она согласилась.

– Ну ладно, в. б., пусть накинет хоть при этих, – сказала она.

Все мы вышли в сборную, куда принесен был и платок. Внимательно рассмотрев его, Ершиха, должно быть, нашла его в исправности, подала Молчанову, который и наложил его ей на голову.

– Нет, как был, – сказала она, – так и повяжи, а этак мне не надо!

– Да я не умею: ведь я не баба. Как бы умел, так что! – возразил Молчанов.

Я с своей стороны поддержал Молчанова, находя его замечание основательным. Ершиха сама повязалась и значительно оглянула зрителей.

Церемония кончилась, Ершиха ушла, вне себя от восторга; каждый мускул ее тела, казалось, не трепетал, а как-то странно подергивался.

Часа через два, когда я, кончив занятия, готов был сесть в повозку, Ершиха снова явилась с корзиной малины.

– Да на что мне это, матушка? – сказал я.

– А хоть дорогой покушаешь: не столь тоскливо будет. А наберуху-то* ямщику отдай, вывезет: это – верный парень.

– Лучше сама кушай.

– Ой ты, в. б.! Да захочу, так ведь этого дерма-то у нас слава Богу!

Верный парень принял корзину, и мы тронулись, напутствуемые благожеланиями Ершихи.

– Ой Ермолаевна, Ермолаевна! – сказал ямщик, будто сам себе.

– А что? – спросил я его.

– Да уж шибко занозлива ныне стала.

– Отчего так?

– Да вот так. Сама-то о себе она бы баба хорошая: золото – не работница! и поведенья доброго: вот сколькой год окроме мужа живет, а ничего такого не слыхать за ней... ну и в семье уживчива... Только как мы из-под конторы-то вышли... под посредников то есть, так она все собачится, дразниться стала: «Вам, говорит, царь-то отказал, а я, говорит, по-прежнему казенная осталась». Ну, да это что! И мы ей на то: ой ты, матроска-смоленая!.. Ну, и ничего. – А тут, как муж отписал ей, что чин какой-то получил – надо быть, писарь на смех написал, а она и за правду думает, какой это чин! При в. в. и сказать непригоже; да она сама, поди, сказывала?

– Да, бомбардирша.

---

* Корзина для собиранья грибов и ягод.

– Ну, так и есть, в. в. – сказал, смеясь, ямщик.– Так после этого она еще занозливее стала: слово скажешь – как собака облает! Ведь вот и с Молчановым-то она же боле виновата.

– Как же так?

– А вот как, в. в. О Троицыне дни у нас храмовой праздник, так общество пиво варило... скупштына была... Молчанов навеселе был; встретил он Ермолаевну-то, да и спрашивает: «Куда, говорит, ползешь, смоленая?..» Да тут чинто ее и молвил. Как взъярит Ермолаевна, да и бряк: «А в Усолье по соль собралась: не хошь ли вместе, Петр Егорович?» – Так ведь, вот что она, в. в., брякнула!

– Ну, так что же тут такое?

– А нельзя этих слов говорить Молчанову: хоть вы, хоть кто скажи ему: «Каково, Петр Егорович, по соль в Усолье съездил?», так что под руку попадет – тем и пустит: человека, одинова, чуть не до смерти жердью ушиб... в остроге сидел. Хорошо еще, что в ту пору в руках ничего не случилось, – так только потрепал.... эту Ершиху-то....

– Отчего же он не любит этого?

– А кто его знает, в. в.! До того он солью переторговывал, так в Усолье ездил. Только что-то и случилось с ним одинова; поехал на подводах и с деньгами, а домой пеший пришел – и без соли, и без денег, и без лошадей. Его стали все спрашивать; а ему это не любо. Сперва отмалчивался, а после уж и драться стал. Не почто бы этих слов Ермолаевне говорить... – Эй, вы, банманделы! – крикнул ямщик в заключение на лошадей, которые, прислушиваясь к рассказу его, едва переступали с ноги на ногу. «Грабят!» прибавил он. Тройка ринулась и понеслась, как бешеная...

VI.

ЛЕКАРЬЕ-САМОЗВАНЦЫ

Вообще в маленьких городках, не имеющих никакой промышленности и населенных почти одними чиновниками, да служащими и отставными солдатами, время набора считается самым веселым временем в году. Святки, Масляница и Пасха, даже взятые в совокупности, не дают столько удовольствий, как набор. Притом же, святочные, масляничные и т. п. удовольствия всегда сопряжены с сверхсметными издержками и скучными хозяйственными заботами; а тут – целый месяц удовольствий и, вместе, нажива! Всех более радуются набору лекаря и начальник уездной команды внутренней стражи, конечно, не без исключений, особенно в последнее время. Они радуются по причинам, столь общеизвестным, что распространяться о них нет надобности. Остальное уездное чиноначалие, хотя и не имеет столь основательных поводов радоваться наступлению набора, но все-таки питает разные розовые надежды, которые почти никогда не обманывают. Чиновники покрупнее всегда вперед уверены, что им удастся поиграть в большую, так как военный приемщик, – обыкновенно молодой офицер, – уже законом обязан играть, и играть, для поддержания чести своего мундира, рискуя значительными кушами. В том, что приемщик будет вести большую игру, почтенные сановники никогда не обманываются; очень редко обманываются они и в том, что прогоны, порционы и т. д. приезжего останутся в их карманах: исключения случаются лишь тогда, когда приемщик, вместе с белыми перчатками, привозит и шестой пальчик. Мелкие служащие и отставные приказные знают, что каждый рекрут напишет какое-нибудь прошение и заплатит за труд не двугривенный с придачей полштофа, как в обыкновенное время, а целковый с четвертной. Радуются

набору мелкие промышленники, рассчитывая на верные барыши. Радуются полицейские солдаты, так как им придется получить от пьяных рекрут по нескольку оплеух и за каждую оплеуху по рублю, а иногда и более, вознаграждения. Радуются солдаты внутренней стражи, потому что им предстоит сопровождать новобранцев и по пути отпускать их к родным, конечно, не даром. Из солдат особенно радуются цирюльники, которым предстоит брать деньги с тех, кого они будут стричь, и еще более с тех, кого стричь не будут. Радуются уездные барышни, потому что набор сулит им обновы, танцы и любезность приемщика. В обновах и танцах они никогда не обманываются; но любезность приемщика всегда ограничивается тем, что он раз или два покажет им, как откалывают суздальцы или тарутинцы и, затем, всецело предается пеструшкам. – Одним словом, все в городе радуется набору, за исключением только сапожника Орлова, да портного Воробьева, которым шило и иглу приходится променять на штык.

Совершенно противоположную картину представляют во время набора деревни: они делаются юдолью плача и рыдания. Хотя теперь, даже в самых глухих захолустьях, крестьяне знают, что солдату житье стало не хуже, чем в крестьянстве, а иногда даже лучше; но все-таки большинство страшится набора, так как, не говоря о семейных и других привязанностях, лишение работника и сопряженные с проводинами его расходы очень часто расстраивают хозяйства, а иногда имеют возмущающие сердце последствия.

Вот один случай из моей следственной практики.

Только что начался набор в г. В..., как в одно январское утро явился ко мне полицейский с пакетом, а при пакете – мужик. Последний был человек довольно пожилой, маленького роста. Простодушное и доброе лицо его было полно живой и глубокой скорби. Я пробежал заключавшееся в пакете полицейское дознание, содержания которого теперь передавать не буду, так как оно войдет в подробности настоящего рассказа, и отпустил полицейского.

Мы остались с мужиком одни.

– Как тебя зовут? – спросил я его.
– Меня-то ?
– Да.
– А Миканом зовут, в. б.
– А по отчеству?
– А по отчеству – Иванович.
– Ну, а фамилия?
– Фамиль-та? – А Тархановых.
– Какого ты правления?
– А нашего правления, в. б.
– Да как оно пишется?
– А ноне Гавшенское стало.

После некоторых других формальных вопросов, я прочитал Тарханову полицейское дознание и спросил его:

– Так ли тут написано, как дело было?
– Дородно выписано, в. в.: все, как есть, выписано!
– Не хочешь ли прибавить чего?
– Нет: почто пустое врать!
– А все-таки подумай: может быть, что-нибудь и еще припомнишь.

Мужик подумал.

– А вот что, в. б., – сказал он после нескольких минут раздумья. – Меня этот солдат, который к тебе привел, дорогой-то надоумливал: «Смотри ты, говорит, голова, денег ему не давай, а так поконайся; так он, бывает, и вдосталь разыщет твою потеряху: ноне, говорит, у нас большие-то начальники, опричь наезжего лекаря, не берут». А я своим-то умом думаю: не врет ли солдат? Бывает, большие люди, – так только помалу не берут, а как поболе-то сунешь, так как не взять? Кто себе ворог? Как бы ты, в. б., мне парня-то выстарал, так я бы тебе все двадцать три рубля посулил... вот что! Потому – парень-от он у меня смиреный!

– Нет, вот что, Тарханов: парня твоего я выстарывать не буду, – это не мое дело, – а постараюсь разыскать твою потеряху.

– Так хоть потеряху-то разыщи, в. б! Мне ты одно сделай: либо парня оставь, либо, коли не хошь, так деньги мне возвороти: половина моя, а половина твоя... вот что!.. А бо-

ле мне парня-то жаль, потому – смиреный... и работник! Мне бы ведь что? Ноне, сказывают, солдатам житье стало лучше, чем во крестьянстве. До того хуже каторги было, а ноне – солдаты выходят, так сказывают – не хуже поселенья... Дородно бы так, буде не врут! Да парень-от он у меня золотой работник! Что я без него?

– Да он всем здоров?

– Всем, всем, в. б.! слава Те, Господи!

Мужик перекрестился.

– Ну, может быть, он неправильно на очередь поставлен?

– Как не по правилу? – По правилу: пожалиться ни на кого нельзя! Только смирен шибко... Какой он воин!

– Ну, так расскажи же мне, как у тебя потеряха случилась; а о сыне не хлопочи, чтобы хуже чего не было.

– Ты думаешь, самого не залобанили бы?

– Нет, не то: а зачем взятки даешь?

– Да ведь не я один даю, в. б!.. Все дают.

– Да зачем даете?

– А как не давать? Люди говорят, что лекарье-то это выстарывает... только дай!

– Пусть так. Только ты дело-то рассказывай.

– Вишь ты, в. б. Тебе-то что? А мне-то каково... все про свое горе рассказывать? Колькой раз я рассказываю, а помочи ни с которой стороны нет.... Как бы знал я это ране, в. б., так отпел бы молебну Матушке Пресвятой Богородице, благословил бы парня, сказал бы ему: «Иди, служи Царю верой и правдой; да как воевать будешь, – не обидь крещеных... помни отца и матерь». Вот бы что я сделал, в. б! А тут? Легче бы мне было живому в могилу легчи; лучше бы мне в каторгу угодить... там бы сердце не болело так! Коли есть у тебя дети, в. б., так пожалей ты меня бедного! Нельзя ли как выстарать?

Мужик низко мне поклонился; на глазах его выступили тугие слезы.

– Выстарать сына я не берусь. Да ведь сам ты знаешь, что солдатам ныне житье хорошее; и домой скоро выходят: так что тебе горевать.

– Так-то так, в. б., – да парень-от он у меня смиреный: обижать станут!

– Эх, ты! Да ныне ведь только смирных в солдаты-то и берут; так кто его обижать будет?.. Ныне солдат не бьют... Лучше я постараюсь как-нибудь деньги тебе воротить!

– А дородно бы было, как бы ты мне хоть это-то сделал.

– Так расскажи же все дело с краю, – без этого не видать тебе ни парня, ни, может быть, денег.

– Так все тебе с краю рассказывать? – спросил меня бедняк сквозь слезы.

– Да.

– А известно: сперва некрутчина вышла, потом парню жеребий выпал, а тут уж известно что!

Мужик задумался.

– А что же, однако?

– А тут известно; люди говорят, надо лекаря ублаготворить. А чем сняться? Вот я и продал Климу пеструху-то... продешевил; да пудов десятка с два муки – землемеру. Тут денег-то у меня и трудно накопилось: двадцать три целковые с собой взял, как сюды поехал!.. Старшина Петр Игнатьевич отпустил: «Ничего, говорит: ты, Микан, верный человек: только наведывайся, как я в город с некрутами буду: сына, говорит, ты мне там приставь». – «Ладно, говорю я, Петр Игнатьевич, приставлю!» Ну, поехал я. Как ехали мы по крестьянству, так все люди – хрестьяне, ровно, как и у нас: где Господь приведет пристать, – и сами поедим, и лошадь покормим. Только под городом насилу сенца серку выпросили; говорит: сами покупаем. Вот и в город приехали. Федька говорит: «Куды приворачивать?.. Хоромы, говорит, все баские, большущие: на начальника бы на какого не навернуть!» – «Так что! я говорю: вороти в избу, какая похуже». – Вот приворотили. Я вошел в избу; помолился. Вижу – хозяйка блины печет.

– Здравствуй, – говорю, – тетушка!

– Здравствуй! – говорит та. – Отколь ты?

– А из Гавшеньги. Токо слыхали Тархановых Микана, с Верхней, – так я и есть.

– А почто ты сюды приехал?

– А сына привез брить, так у тебя пристать лажу.

Тут она расспросила про все, да все пустое спрашивала; а потом говорит:

– У нас не пристают.

– А где же пристать-то?

– А едь к Гаврилу Ивановичу.

– Не доведешь ли до него, тетушка?

– Не время мне. А и сам найдешь: вон, в окно видно.

Тут она мне показала Гавриловы-то хоромы. Вот, подъехали мы, а я уж догадался: наперво спросил: «Не здесь ли, говорю, крещеные пристают?» «Тут и есть», говорят. Ну, думаю, – слава Те, Господи!... Добрались! Велел Федьке серка выпрягать, а сам в избу пополз; помолился, разболокся и на лавку сел. А тут нашего брата людно сидит. Один, – по одеже-то ровно начальник какой, – с мужичком вино пьет и что-то хвастает. Я посидел, да и спрашиваю: «Где, говорю, у вас тут хозяин-от»? А Гаврило тут и есть.

– Что тебе? – говорит.

– А натакал бы ты меня, где этта-у вас лекарье стоит?

– А ты отколь?

Я сказал, отколь.

– Стало, удельный?

– Был удельный.

– Есть здесь и ваш лекарь.

– Так кто бы меня довел до него? Он мне начальник знакомый; лонись, как воспица была на ребятах, так он в нашем приказе боле суток стоял.

– Нет, к этому ты не ходи, потому – дурак: денег не берет; а посулишь – так по шее вытурит. Да у него, как набор, так и ворота на запоре.

– А коли так, дядюшка Гаврило, так не натакаешь-ли меня на другого, который посмирнее... хоть на русачка на какого ни на есть: только бы парня-то мне выстарал; потому – парень-от смирен шибко!

– Да ведь и к этому тоже нельзя прямо-то идти, потому – указ ноне царский вышел, чтобы большие начальники прямо из рук в руки не брали, а велено-де через других: ну, так и другой-от лекарь так-то не возьмет, а как посулишь,

так, пожалуй, тоже по шее вытурит. А надо дать либо подлекарю, либо хозяйке. Он не наш, а из другого города наехал; потому – тоже с своих-то не велено брать, так их в чужие города посылают. Этому брать запрету нет; а еще и прогоны из казны выдадут.

– Ну, так как бы мне хоть до подлекаря-то доползти?

– А выйди, говорит, на улицу, да спроси Степана Николаевича, так тебе всякий укажет.

Вот, хорошо! Поели мы с Федькой всухомятку; я оболокся и пополз. А сам Федьке говорю: «Смотри, говорю: неравно Петр Игнатьевич с некрутами наедет, так ты тут будь». – «Ладно, говорит Федька: знаю ведь я». – Вот, выбрел я на улицу; попошел немного; гляжу: и вперед – улица, и взад – улица и направо – улица, и налево – улица: во все четыре стороны улицы! Стою я – и дивуюсь: куда идти! А сам все думаю: не обманывает ли Гаврило? Бывает, ему наш-от лекарь не люб, так он к своему приятелю не натакивает ли? Думаю я это, а вдруг Митрей и идет.

– Здорово, – говорит, – знакомый!

– Здравствуй, друг, – говорю я; – только ты как меня знаешь-то?

– А как? Мой отец тебе приятель был.

Я и догадался.

– Да не солдат ли он был? – говорю. – До того к нам из городу солдат наезжал, так все у меня приставал.

– Солдат и есть.

– А не Митреем ли его звали?

– А тебя-то как звать?

– А тоже Митреем.

– А отец-от у тебя, Митреюшко, умер, поди? Давненько уж он перестал к нам ездить; а до того на году-то неодинова побывает.

– Умер и так.

– Так! А вот что, Митреюшко: не доведешь ли ты меня до лекаря?

– А какого тебе лекаря надо?

Тут я речи-то Гавриловы и позабыл... перепутал:

– А Миколая, – говорю.

Уж после я догадался, что не ладно это имя вымолвил.

– А на что тебе его? – спрашивает Митрей..

– А Федьку-то, говорю, ставить привез. Отец-от не сказывливал ли тебе, что у меня парень растет?.. Так выстарать бы его как ни на есть; потому – парень смиреный вырос... и работник. Вот что!

– А пойдем, – говорит Митрей, – ко мне в фатеру; так я тебя научу: потому – мне все лекарье знакомо.

Я обрадел: вот, думаю, Господь за старую-то хлеб соль добра человека посылает!

– Ладно, – говорю, – пойдем. Эка ты, паре! У тебя бы и пристать-то мне.

– А почто не пристал?

– Да не знал ведь.

– Ой, голова! Да спросил бы ты Митрея Попихина, так тебе всяк бы указал.

– А вот и не догадался я этого-то, Митреюшко.

– Ну, так пойдем!

Вот пришли. Я сел, и не разболокался. Тут мне Митрей и говорит:

– Ведь без денег, дядя, не выстарать тебе Федьки.

– Да деньги-то у меня, Митреюшко, есть.

– А колько?

– Двадцать три целковые.

– Ну, так ладно – пойдем!

Вот, пошли мы. Я ему и говорю:

– Веди ты меня наперво к нашему-то, к удельному-то лекарю, потому – он мне начальник знакомый. Хошь Гаврило и калякает, что он денег не берет, да я думаю, не по насердкам ли каким он врет... отводит от него крещеных... Этот лекарь лонишный год, как воспица была, наезжал к нам, да никому обиды не сделал... даром, что из больших начальников!.. Сказывают, с самим управляющим с одной ложки пьют и едят!

– Нет, – говорит Митрей, – тебе Таврило вправду сказывал: ваш лекарь точно что дурак, потому – денег не берет. Да он и не набольший. В лонишний набор, чтобы ему незавидно было, посылали было на испытанье. А он все наз-

ло делал: которых не надо лобанить – всех залобанил, а которых надо – нет! За это в нонешнем году к нему и перестали посылать на испытанье... чтобы опять за спасибо-то не напакостил.

Подались мы небольницу, а тут елка – кабак то есть.

– Зайдем, – говорит Митрей.

– А ты разве пьешь? – молвил я: – твой отец, так тот капли в рот не брал.

– Да и я, – говорит Митрей, – капель-то не примаю, а по пятницам, на голодную утробу, стаканчик выпиваю.

Зашли. А он и велит целовальнику два стакана налить, а мне велит деньги подать.

– Я, – говорит, – из-за тебе весь день проманил, а у меня тоже работа есть.

– Да, Митреюшко, этак хватит ли у меня лекарье-то это ублаготворить?

– Как не хватить! Хватит.

А у меня мелких не было: была пятирублевая, да две трехрублевые, а тут все целковые. Я выкопал один целковый, который похуже, подал целовальнику, да и говорю:

– Сдачу подай!

Тот пошеперил этак бумажку-то, да и говорит:

– А нет у меня теперь сдачи.

– А коли нет, – я говорю, – так бумажку назад подай. А мне и вина не надо.

– Да не сумлевайся, голова! – говорит Митрей: это человек знакомый... я после сам получу, как взад пойдем.

– Да смотри, Митреюшко, – говорю я, – как бы недохватки не было.

– Не будет, – говорит он мне, – недохватки. – А целовальнику говорит: «Наливай».

Тот налил два стакана; Митрей один себе берет, а другой мне подает.

– Не до того мне, – говорю, – Митреюшко!

– Выпей, – говорит, – голова... на сердце веселее будет!

– Нет, уж лучше сам ты оба выпей на здоровье.

Митрей выпил, и говорит:

– Пойдем... этак ловчее будет с начальством толковать.

Вот, пошли мы. Гляжу – хоромы большущие стоят, о два жила... и краской окрашены, ровно голбец у богатого мужика; только синих птиц не написано. «Вот этта и лобанят!» говорит Митрей. Как скажет он это – так у меня ноги-то и подкосились! Видит это Митрей, и говорит: «Чего боишься? Головы ведь не снимут»! – Ну, думаю, снимут – не снимут, а идти надо, потому – парень-от он у меня смирен шибко. Наперво во двор вошли. Двор большущий, а все в нем пусто: только поленницы у заплоту стоят. Потом в хоромы вошли. Сени холодные, а светлые; а в сенях лестница большущая, широкая, с частыми ступенями. «Постой тут», сказал мне Митрей; а сам в верхнее жило убежал: «Я те, говорит, человека вышлю». Поманил я немного; как вдруг идет сверху какой-то начальник... моложавый такой из себя... и без шапки, а так. Идет он, а сам на меня так и смотрит. Я шапку еще ране скинул; так только поклонился ему, да и спрашиваю:

– Ты, в. б., не лекарь ли и есть?

– А что те, борода? – молвил он.

Я уж по наречью догадался, что он большой начальник, потому – сразу заругался; взял, да и пал ему в ноги. А он говорит:

– Вставай, борода, да прямо говори, что те от меня надо?

Я встал, и говорю:

– А как бы мне парня-то выстарать? Потому – смирен шибко! Малого ребенка отродясь не изобидел: так какой он воин?

– То-то, мошенник! – промычал это лекарь сквозь зубы... сердито таково... – Иди, – говорит, – за мной!

Я пошел. Он вывел меня на двор опять, да и говорит:

– Сколько ты мне дашь?.. Да смотри, борода, не торговаться!

– Почто торговаться, в. б.! На, вот, возьми, отсчитай, что те по царскому указу следует: ты ведь боле знаешь!

Тут я выволок деньги, да и подал ему все. Он взял; считает, а сам бранится:

– Вы, говорит, сиволапые, все мошенники! От всех от вас псиной воняет: так и деньги-то душные у тебя. Знаю я вашу благодарность: не возьми с вас вперед, так и с деньгами простись. Вот, я возьму, что мне по царскому указу положено, да понимаешь ли ты, сукин сын?

– Как не понимать, я говорю, в. б.! Понимаю.

А сам обрадел, что лекарь деньги примает. Только взял он одну пятирублевую, да в рыло-то мне ей и тычет. Я думал и взаправду ткнет, однако – нет.

– Вот, что я беру, говорит: понюхай, борода! А эти, достальные-то, к старшему лекарю отнеси; потому – я моложе его... понимаешь ли, борода, отчего я с тебя только это беру?

Тут он опять мне пятирублевой-то и тычет в рыло. Только, как взял он, так я и посмелее стал, да и молвил:

– А тебя, в. б., не Миколаем ли зовут?

– А что те, борода, в том, как меня зовут? Ну – Миколаем.

– Так ты бы, в. б., достальные-то деньги сам бы отдал старшему начальнику.

– Дурак ты, сиволапая псина! По царскому указу всяк берет сам на себя: мне до старшего лекаря дела нет, и ему – до меня!

– А как же, в. б., Гаврило-то сказывал, что ты и на старшего лекаря берешь?

– А скажи ты своему Гаврилу от меня, что врет он... не в свое дело суется.

– Так хоть укажи ты, как мне старшего-то отыскать?

– Вот те достальные деньги; а ищи его сам, как знаешь: язык до Киева доведет.

Тут лекарь пошел в хоромы; я поподался за ним, да на лестнице опять и стал: думаю, что будет? Только вдруг Митрей и бежит сверху:

– Что? – говорит.

– А взял, – говорю я, – слава Богу! Только на старшего не берет, а велит самому сыскать... не доведешь ли ты меня, Митреюшко, до старшего-то?

– А этот-то, – спрашивает Митрей, – колько с тебя взял?

– Молчи ты! – шепнул я Митрею: – только пятирублевую!

– Ладно, – говорит Митрей, – пойдем!

Вот, пошли мы. И малость поподались – а тут старший-то и живет... Хоромы не мудрые... Однако зашли.

– А дома Степан Миколаевич? – спросил Митрей.

– Дома, – говорят, – идите!

Тут я и догадался, что про этого подлекаря мне Гаврило-то и говорил, а тот, Миколай-от, который пятирублевую-то у меня взял – не тот. Вошли мы в горницу; вижу – начальник смирный. Митрей ему обо мне обсказал. «Ладно, говорит подлекарь: давайте двадцать пять целковых!» Как скажет он это – так у меня ноженьки и подкосились! «Да не будет у меня эстолько, в. б.! У меня только, вот, и есть»! А сам подаю ему двадцать три без шести рублев. Лекарь не берет; а сам говорит: «Нет, мне ни копейки нельзя взять мене!» Тут Митрей стал конаться лекарю: так и так, говорит. Потом они промеж себя стали шушукаться. Что они шушукались – я не чул, а памятно мне, будто Митрей говорит лекарю: «Что тебе! Возьми, да и все тут»! А лекарь, будто, говорит: «Мене, Митрей Петрович, ни копейки не возьмет! А мне ведь не своих прикладывать». Опять мне дивно показалося: как это, думаю, у Митрея и отец Митрей же был, а его величают Петровичем? Только думаю я это, а Митрей и зовет меня: «Пойдем, говорит!.. коли этот не берет, так мы получше найдем... знающего!» Пошли мы, а я и спрашиваю: «Пошто тя этот лекарь Петровичем величал, коли у тебя отец Митрей был»? «Экой ты, говорит Митрей, голова! Митрей-от мне не родной отец был, а вотчим; а родного-то отца у меня Петром звали, так то меня Петровичем люди и величают!» Завернули мы за угол, потом – за другой. «Вот, говорит Митрей: тут и есть!» Гляжу – опять изба небольшая, и уж шибко ветха. Вошли мы в избу. Тут наш брат мужики стоят, а по горнице ходит начальник... тороватый такой, старенький... и под хмельком. Митрей ему обсказывает: «Вот, говорит, я те, Василий Степанович, мужичка привел... о сыне...»

– Здравствуй, здравствуй, – говорит лекарь, – мужичок! Что надо?

– А о сыне, – говорю, – в. б.: как бы его выстарать; потому – смирен шибко!

– Можно, можно! Не такие дела выстарывали. Пойдем со мной!

Пошли. Наперво вышли в сенцы, а из сеней в горенку. Горенка холодная, а в ней – чисто.

– А что, – говорит лекарь, – ты мне положишь?

– А вот, – говорю.

Тут я выволок опять деньги, да как не на что положить, так я их по полу и расклал. А лекарь присел на кукорки, да и собрал их.

– Не мало ли, – говорю, – будет, в. б.?

– Довольно, довольно! – говорит: – выстараем! А как другое какое дело будет, так опять приходи.

Тут лекарь пошел в избу, а я за ним. Гляжу – а Митрея уж и нет тутока! «Где, говорю, он?» «А, говорят, ушел куды-то».

Я поманил, да и говорю самому лекарю:

– Так уж ты, одно слово, выстараешь, в. б.? Потому – и подлекарье по мне тянут.

– Выстараю, – говорит, – выстараю! Ты не сумлевайся.

– А как бы мне Митрея-то найти? Потому – не забыл бы он у целовальника сдачу с целкового взять.

– Так ты иди к нему на фатеру, – говорит лекарь.

– А я дороги не знаю, в. б.; потому – кружились... кружились!

– Ой ты, друг! – говорит. – Как выйдешь за ворота, так свороти налево, а тут и иди все прямо; перейдешь улицу, а тут пятый дом на левой руке и будет.

Я опять поконался, да и пошел. Как сказал мне лекарь, так я Митриеву фатеру и нашел. Взошел. Гляжу – а Митрея нет. «Где он?» спросил я. А говорят: «После того не бывал». Ой! думаю... парень молодой: не допивает ли он моего целкового! Только гляжу – а молодой-от Миколай – лекарь, тут на кровати и лежит!

– Что ты, – говорит, – борода, на меня уставился?

– А не ты ли, – говорю, – Миколай-лекарь?

– А что тебе?

– Да как бы мне Федьку-то выстарать? Потому – смирен шибко.... какой он воин!

– А у старшего был?

– Был.

– А деньги отдал?

– Отдал.

– Ну, так смотри ты у меня, мошенник, иди к сыну, да скажи ему, чтобы он, как его приведут лобанить, так левую руку поднял бы, как велят, а правую бы, хоть и велят, не поднимал бы: ...будто отсохла!

– Нет, я говорю, в. б.! Почто мне парня портить. Эк и взаправду прикинется; так на что мне он? А коли ты деньги взял, так по добру делай!

– Я вижу, – говорит лекарь, – ты мошенник.

– Нет, почто мошенник? А коли ты не хошь парня подоброму ослободить, так подай назад деньги!

Как взъярит тут лекарь! «Ах ты борода, говорит, сиволапая! Я зашлю тебя, куды Макар телят не гоняет!» – И пошел, и пошел! Все к рылу подскакивает, а сам оболокается. Оболокся – и убежал. А я стою, да думаю: что делать? Только вдруг Митрей приходит... выпивши. Ой, думаю, пропил он мои денежки!

– Митреюшко, – говорю, – взял ли ты сдачу-то?

– Помани, – говорит он: – сдача не уйдет, потому – человек знакомый.

– Ну ладно, – говорю; – только как бы с молодого-то лекаря деньги возворотить, – потому, он ладит парня портить; а для меня уж лучше пусть он на царскую службу идет, да был бы здоров... вот что, Митреюшко!

Тут Митрей вдруг схватился за руку, да и побежал из избы: «Ой, говорит, руку вывихнул, так к костоправу надо!» И убежал. А тут две бабы остались. Я им и говорю: «Как же быть»? А они говорят: «Мы ваших делов не знаем: иди отколь пришел». – «Да вы хошь до Гаврила-то, говорю, меня доведите»! – «Не наше, говорят, дело: иди, как знаешь!» – Вышел я на улицу; а уж стемнело: гляжу – звезды на небе...

Тоскливо таково мне стало! Потому – и дом разорил, и деньги без пути отдал, и парня не выстарал. Не знаю, куды и ползти: стою – ревлю. Только, вот, вижу, идет кто-то крещеный.

– О чем ты плачешь, – говорит, – мужичок?

А я по голосу-то его и признал: это – у нас мерщик жил... Миколай Петрович. Я обрадел.

– Ты это, Миколай Петрович? – говорю.

– Я, – говорит; – а ты не Микан ли?

– Микан, – говорю, – и есть.

– А что ты тут ревешь?

– Да как не реветь, батюшко, Миколай Петрович! Это лекарье-то все деньги у меня выманили, а парня не выстарывать ладят, а портить!

– Какое лекарье?

– А вот, один в этой избе стоит.

– Как так?

– А вот так!

– Да это не лекарье, а ссыльные мошенники тебя обманывают!

– Так как же быть мне? Не поучишь ли ты меня, Миколаюшко?

Тут он велел мне рассказать, как что было. Я ему вот, как и тебе, в. б., и рассказал.

– Бежи, – говорит мне Миколай Петрович, – скорее к исправнику, покамест деньги твои не промотаны.

– А я не знаю, Миколай Петрович, двора-то исправникова: в кую сторону бежать?

– Ну, так пойдем вместе.

Дошли мы до большущих хором. Вошли в переднюю горницу; а тут солдат с синим воротником сидит. Миколай Петрович и говорит солдату: «Вышли нам исправника!» Солдат пошел, да вскоре и вернулся: «Идите!» говорит. Мы вошли в другую горницу. Горница матерая такая. А тут из другой опять горницы выскочил начальник черномазый, долгоносый и пучеглазый такой! Это исправник-от и есть. «Что вам»? спрашивает он. А Миколай Петрович и обсказал ему все, как есть. Как взъярит он!.. «Эй!» говорит. При-

бежал этот солдат. «Тащи живее сюда это лекарье! Слышал кого?» – «Так точно», говорит солдат, а сам побежал. «А ты, говорит мне исправник, посиди, где солдат сидел». А Миколая отпустил: «Я уж сам теперечи знаю», говорит. Сел я это: а тут ночник горит... в стекле какое-то масло налито – и светло таково: что твоя свечка! Долго манил я тут... тоскливо было. Только вдруг слышу, кто-то по лестнице скоро таково поднимается. Вдруг колоколец над самым ухом у меня, сам о себе, зазвенел; дверь отворилась... гляжу – а это Митрей пришел... Видит он меня, и сердито посматривает... а сам выпивши. Ой, думаю, пропил он достальные мои денежки! А на звон-от сам исправник и выбегает. «А! говорит он Митрею: ты уж готов? Идите-ко оба сюды!» Мы пошли опять в большую горницу. Тут исправник спрашивает Митрея: «По каким лекарям ты водил этого мужика»? А тот говорит: «Ни по каким лекарям я не водил его, а водил к такому-то, да к такому-то – о сыне прошенье писать». – «Правду это он говорит?» спрашивает меня исправник.–«А врет, говорю я, в. б! На что мне прошенья?.. Мне лекаря надо было. А они от нашего-то лекаря отвели: тот, может, и не обманул бы, потому – свой начальник...» Тут опять исправник Митрея спрашивает: «Почто ты, говорит, рубль у него выманил?» «Нет, говорит Митрей, он сам его целовальнику подал, сам и сдачу взял!è – «Что ты, что ты, Митреюшко! говорю я: этак-то ты?.. за старую-то хлеб-соль!» «Отдай, говорит Митрею исправник, деньги ему, а не то худо будет: мошенник, говорит, ты!» А Митрей все свое: «Не брал, говорит, так не отдам!» Да так на том и стал. Исправник загагайкал и пришел Митрофан – такой же короткохвостый. – «Ты, говорит ему исправник, напиши бумагу, что этот мужик да Митрей сказывали, да так, говорит, пиши, чтобы ровно лист вышло, потому – другие будут писать, так чтобы не знали. Те пусть пишут всяк на своем листе». Митрофан с Митреем ушли опять в другие двери; а тут этот колоколец и зазвенел опять. Гляжу – старый лекарь идет! И этот шибко хмелен. «А за что, спрашивает его исправник, ты у этого мужика деньги взял?» Лекарь, хоть и пьян, а испужался: заикается, а сам говорит:

«За прошенье о сыне, Ехрем Иванович». «А прошенье ты написал ли ему?» спрашивает исправник лекаря. «А и не написал», говорит лекарь. «А почто не написал, опять пристает исправник, коли эко место денег взял?» А лекарь и соври: «Почто он мне бумаг ни принес?» Тут исправник меня спросил: «Почто ты, говорит, ему бумаг не принес»? Я говорю: «Врет он все, в. б! Какие у меня бумаги... мне и без бумаг-то как тошно!» «А подай, говорит лекарю исправник, этому человеку деньги!» Лекарь выволок трехрублевую бумажку, да и подает исправнику: «Вот!», говорит. «Врешь, говорит ему исправник, ты подай все». «А боле нет у меня», сказал лекарь, да так на том и стал. Тут и этого исправник к Митрофану послал. Гляжу, – а молодой лекарь уж и пришел. Как заскачет над ним исправник! Я думал, он его в кровь разобьет. Однако не тронул. Потом приутих: стал его корить: «Я, говорит, тебя, мальчишка, на место посадил... жалел тебя, а ты вот как!» Только гляжу, – Миколай не сробел, а еще огрызается: «Пошто ты кричишь на меня?è говорит он исправнику. Тут исправник заскакал пуще прежнего: «Отдай, говорит, этому мужику деньги, а не то и самого тебя зашлю, куды Макар телят не гоняет!» «Какие деньги?» спрашивает Миколай. «А пять рублев», говорит исправник. Тут он опять стих: «Посмотрим, говорит, какую ты песню у следователя запоешь!» А меня исправник спрашивает: «Этот у тебя пять рублев взял?» «Этот самый, говорю я: как же ты, Миколаюшко, запираешься?» – «Врешь ты, борода!» говорит Миколай, а сам мне в глаза смотрит. Опять заскакал исправник: «Так ты, говорит он лекарю, Миколаем назвался? Да еще при мне мужика бородой ругаешь!..» И пошел, и пошел! «А я, говорит лекарь, не ругаюсь, а называю его бородой, потому – не знаю его; да и никаких мужиков я знать не хочу, потому – от них ото всех псиной воняет, все они в полушубках ходят, все они мошенники, все с бородами! Есть у него борода – я бородой и называю». Вот, велит исправник опять писать. Написали. «Подпиши, говорит исправник Миколаю, свою сказку, что ты Тарханова и в глаза не видал». «А дай, говорит Миколай, мне все вычитать». «Нет, вре! говорит исправ-

ник: ты только за себя ручи». Миколай тут и заручил. Потом пришли еще какие-то руку прикладывать; и за меня приложили. Исправник подал мне трехрублевую. Гаркнул он солдата, да и говорит: «Засади этого Миколая-лекаря при полиции». «Ладно, говорит солдат, в. б!» а сам Миколая за локоть и берет. «Нет, говорит Миколай, это не по правилу: в бумаге того я не ручил». «А коли так, говорит исправник, так тащи его лемистративным* порядком». Тут солдат лекаря за шиворотку и стал забирать лемистративным порядком. Тот говорит: «Нет, уж лучше я сам пойду!» – Ушли. А меня исправник накормить велит. А я говорю: «Уж мне не до еды, в. б., потому – он парень-от смиреный!» «Ну, как хошь», говорит исправник. Тут он велел другому солдату меня до Гаврила довести. Я, было, стал о сыне ему конаться, а он говорит: «Нет!» Так я и ушел. А вот сегодня пришел ко мне тот же солдат, да и привел меня к тебе... вот и вся сказка, в. б!..

– Хорошо! А деньги, который ты отдавал, узнаешь ли, если тебе их показать?

– А этот рубль, который в кабаке отдал, так тот признаю, потому – худ шибко: я и у землемера-то не брал было, да в правленьи все говорят, что гож; а землемер говорит: не возьмут, так я обменю... потому я его в кабаке-то первого и выволок.

– Ну а другие бумажки?

– А други все, как есть... Только коли правду Миколай-лекарь сказывает, так по духу-ту нельзя ли как доискаться: бывать и вправду от них псиной воняет.

– А когда вы с Дмитрием были в кабаке, были или нет там посторонне?

– Были, в. б.

– Ты не знаешь их?

– Я-то не знаю, а Митька, так тот знает, потому – зубоскалил с ними.

– А когда ты отдавал молодому Николаю-лекарю пять рублей, так тоже не видел ли кто этого?

---

* Административным.

– А как не видеть! Там из верхнего жила начальники глядели, да зубоскалили на нас.

– А когда у подлекаря вы с Дмитрием были, так не было ли тут еще кого-нибудь?

– Нет, тамотко никого не было; да ведь подлекарь и не взял с меня ничего: «Нет, говорит, двадцати пяти, – так вот тебе и деньги назад». И возворотили.

– Ну, а когда у старого лекаря был, так не встретил ли там кого-нибудь знакомого?

– Нет, знакомых тут не было, потому, по наречью-то, все кулояна-драчи. – А Митька... так тот, поди, их знает, потому – говорил с ними.

Я считаю лишним излагать подробности следствия и сообщу в сжатом виде достигнутые им результаты. Дмитрий Попихин оказался в.... мещанином из солдатских детей; молодой Миколай-лекарь – сосланным в г. В... за мошенничества чиновником Бондыревым; старый лекарь – отставным чиновником, занимающимся составлением прошений. – Бондырев, сначала утверждавший, что вовсе не знает Тарханова, на очной ставке проговорился, что тот был у него в квартире; а чиновники полицейского управления сказали, что видели, как первый брал у последнего деньги на дворе полицейского управления. Против остальных прикосновенных к делу лиц формальных улик не оказалось. Но и Бондырева уголовная палата оставила лишь в сильном подозрении.

Летом того же года мне случилось быть в Гавшенском правлении. Я осведомился о Тарханове.

– Умер, – сказали мне.

– Как так?

– Да так вот! Как выехал зимусь из города, так и зачах; потому –и сына забрили, и деньги потерял, и дом разорил. После масляной и с печи не стал слезать, а ко Христову Дню – и душеньку Богу отдал. – А шибко жаль, потому – смиреный это был мужик: все волощане его за простоту любили!.. Так вот сгиб человек от недобрых людей, а сам на веку, поди, мухи худой не изобидел!.. Бывает это, в. б.!

Примечания

Книга К. Попова «Виноватые и правые» впервые вышла в свет в Москве в 1871 г. Сведениями об авторе мы не располагаем; возможно, он действительно являлся судебным следователем Вологодской губернии, где происходит действие его рассказов.

Для понимания описанного в книге нужно сказать несколько слов о самой должности судебного следователя, которая была введена в рамках судебной реформы 1860-х гг. и конкретно – реформы предварительного следствия по уголовным делам.

Следствие это перешло из рук полиции к судебным чиновникам-следователям, назначавшимся министром юстиции. Полномочия их регламентировались законодательными актами «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям» и «Наказ полиции о производстве дознания», которые были утверждены Сенатом в 1860 г. и включены в Устав уголовного судопроизводства 1864 г.

Судебный следователь имел право возбуждать уголовное преследование, поручать полиции производство дознаний, требовать и получать помощь от гражданских и военных властей и полиции, производить допросы подозреваемых и свидетелей, обыски и выемки, избирать меры пресечения в отношении обвиняемых и пр.

Полицейские власти, в свою очередь, должны были немедленно и не позднее суток сообщать судебному следователю и прокурору о происшествиях, заключающих в себе признаки преступления; вместе с тем, полицейские могли проводить предварительное дознание, ограничиваясь «розысками, словесными расспросами и негласным наблюдением». При наличии прямых улик, непосредственных указаний на виновника, поимке преступника на месте преступления и т.д. полиция должна была также принимать «меры, необходимые для того, чтобы предупредить уничтожение следов преступления и пресечь подозреваемому способы уклоняться от следствия» (именно такое полицейское дознание описано, например, в рассказе «Паточка»).

Появление «новой фигуры в русском обществе», фигуры судебного следователя, указывает А. Рейтблат, вызвало к жизни и новый поджанр детективной литературы – повествование о след-

ствии. Отчетливо заметен в этом смысле временной рубеж: это конец 1860-х и начало 1870-х гг. Как пишет А. Рейтблат,

> Хотя в публицистике и документальном очерке проблемы преступности заинтересованно освещались и дискутировались, в литературе в специальное тематическое и жанровое направление эта проблематика оформлялась медленно и с большими трудностями. Детектив (или, как его тогда называли, «уголовный роман») был не в чести. Показательно, что солидные толстые ежемесячники («Отечественные записки», «Дело», «Русский вестник» и др.), как правило, не печатали произведения этого жанра, а в отделе критики либо вообще игнорировали выходящие отдельными изданиями детективы, либо подвергали их уничтожающей критике.
>
> Поэтому первое время авторы стремились подчеркнуть в названии документальный характер своих книг (и действительно, они, как правило, не «сочиняли», а пересказывали случаи из жизни). Сложилась даже устойчивая формула для обозначения подобных произведений — «записки следователя». Среди наиболее известных — «Острог и жизнь (Из записок следователя)» Н. М. Соколовского (1866), «Правые и виноватые. Записки следователя сороковых годов» П. И. Степанова (1869), «Записки следователя» Н. П. Тимофеева (1872)[*].

К тому же пласту литературы принадлежат «Записки судебного следователя» А. А. Соколова (1886), «Три суда, или Убийство во время бала» С. А. Панова (1876), «Рассказы судебного следователя» (1878) и другие произведения А. А. Шкляревского и прочие ранние детективы, будь то документальные или «художественные». Читательский успех одних сочинений порождал другие: так, выбирая заглавие для своей книги, К. Попов лишь слегка переиначил название книги П. И. Степанова.

Книга К. Попова публикуется без сокращений по изданию 1871 года в новой орфографии. Исправлены устаревшие особенности пунктуации и написания некоторых слов.

---

[*] *Рейтблат А.* «Русский Габорио» или ученик Достоевского? // Шкляревский А. Что побудило к убийству? (Рассказы следователя). М., 1993.

Кончина грешницы

С. 7. ...*обывательской станции* – Обывательская станция – пункт остановки и отдыха для путешествующих, место, где меняли лошадей для продолжения поездки.

С. 8. ...*Паскевич-Эриванский* – И. Ф. Паскевич (1782-1856), князь Варшавский, граф Эриванский, русский полководец и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, участник многочисленных войн первой трети XIX в.

С. 9. ...*десятского* – Десятский – выборный числа из крестьян, выполнявший полицейские и другие общественные функции.

С. 11. ...*сотский* – Крестьянин, избранный сельским сходом для выполнения общественных обязанностей, надзора за порядком; представлял обычно 100 дворов.

С. 12. ...*повального обыска* – Т.е. массового опроса возможных свидетелей, соседей и т.д.

С. 14. ...*просужий* – Рассудительный, толковый, дельный.

С. 20. ...*с краю* – Здесь: с самого начала, по порядку.

С. 25. ...*неприсяжные семейники* – Родственники подозреваемых, не приводившиеся к присяге.

С. 41. ...*удельных крестьян* – «Удельными» назывались крестьяне, принадлежавшие императорской фамилии; в 1863 г. на них была распространена крестьянская реформа 1861 г.

Паточка

С. 52. ...*то гостинец не простой: с поля битвы кабардинец* – Цит. из баллады М. Ю. Лермонтова «Дары Терека» (1839).

С. 63. ...*видоки* – Свидетели, очевидцы.

Нежный отец и просужий братоубийца

С. 75. ...*большаков* – Большак – хозяин, глава крестьянской семьи.

С. 75. ...*сузем* – В говорах Сибири и северных регионов дремучий, глухой лес, глушь.

С. 83. ...*лопотина* – Платье, верхняя одежда.

С. 85. ...*иверень* – Осколок, обломок.

С. 86. ...*крестовики* – Серебряные рубли Петра I, Петра II, Петра III и Павла I с крестообразным императорским вензелем на оборотной стороне. В настоящее время среди нумизматов и кладоискателей это название распространилось и на медные монеты с номиналом, вписанным в крест на оборотной стороне.

С. 87. ...*на этого Турка белый Арап находил* – Здесь и далее речь идет о восстании египетских вассалов против Турции (1831-1833) и военной помощи, оказанной Турции Россией; русской эскадрой, а затем сухопутными силами командовал Н. Н. Муравьев-Карсский (1794-1866).

Проказы лешего

С. 95. ...*Закхей мытарь* – По Евангелию от Луки, богатый начальник сборщиков налогов, который уверовал в Иисуса и пообщал воздать обиженным им людям вчетверо.

С. 95. *«Блажен, иже и скоты милует»*... – Притч. 12:10.

С. 103. ...*Семенова дня* – Т. е. дня памяти преподобного Симеона Столпника, отмечаемого 1/14 сентября.

С. 104. ...*голбец* – Помост со ступеньками для всхода на печь и полати и спуска в подклет.

С. 106. ...*зыбке* – Зыбка – люлька, колыбель.

Не срывай платка с бомбардирши!

С. 120. ...*государевы, удельные были...государь от них отказался* – Героиня рассказа намекает на освобождение удельных (принадлежавших императорской фамилии) крестьян в 1863 г. и изменения в удельном ведомстве.

С. 124. ...*бонбандеру* – Т.е. бомбардиру (изначально солдат или матрос при бомбардирском орудии, позднее низший чин в артиллерии, звание, соответствовавшее ефрейтору).

С. 128. ...*скупштына* – Скупщина, складчина.

Лекарье-самозванцы

С. 131. ...*выстарал* – Выстарать – вызволить, выручить, добиться освобождения (здесь – от воинской повинности).

С. 132. ...*залобанили* – Забрили в солдаты.

С. 133. ...*некрутчина* – Рекрутчина.

С. 137. ...*небольницу* – Немного, чуть-чуть.

С. 138. ...*у заплоту* – У забора, у ограды.

А. Ш.

Оглавление

Кончина грешницы 7

Паточка 44

Нежный отец и просужий братоубийца 75

Проказы лешего 92

Не срывай платка с бомбардирши! 119

Лекарье-самозванцы 129

Книги серии «Новая Шерлокиана» 154

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

В серии «Новая шерлокиана» вышла книга:

Мало кому известно, что Шерлок Холмс и его верный спутник доктор Уотсон боролись с преступниками не только в Англии и Западной Европе, но и в далекой России. Здесь, на заснеженных просторах империи, Шерлоку Холмсу предстоит померяться силами с прославленным американским детективом Натом Пинкертоном! Российские расследования Шерлока Холмса – в книге писателя и журналиста П. Орловца (П. П. Дудорова) «Шерлок Холмс против Ната Пинкертона в России», впервые изданной в 1909 г.

Этой книгой наше издательство открывает серию «Новая шерлокиана». В нее войдут книги о знаменитых детективах, которые соперничали в свое время в популярности с Шерлоком Холмсом, шерлокианские статьи и материалы и, конечно, истории о новых приключениях великого сыщика.

В серии «Новая шерлокиана» вышла книга:

Один из самых странных детективов на свете, Морис Клау не бродит по лондонским подземельям с револьвером и не рассуждает у камина о тонкостях дедуктивного метода. Он... спит и разгадывает криминальные загадки во сне.

Убийство портретиста в уединенной мастерской и похищение драгоценного алмаза «Голубой раджа», привидение в Грейндже и загадочная история с обезглавленными мумиями: Клау способен одержать верх над самым изощренным преступником...

Расследования Мориса Клау и его прекрасной дочери Изиды – в классической книге Сакса Ромера «Спящий детектив». Эта книга Ромера, создателя зловещего доктора Фу Манчу, впервые переводится на русский язык.

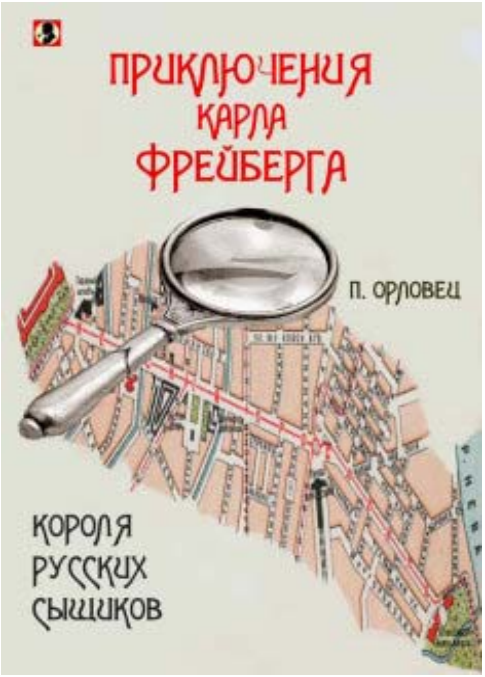
В серии «Новая шерлокиана» вышла книга:

В книгу «Шерлок Холмс на сцене» вошли четыре пьесы о знаменитом детективе, написанные А. Конан Дойлем и известным актером и драматургом У. Жилеттом, который на протяжении двух с лишним десятилетий сотни раз выходил на подмостки в образе Шерлока Холмса.

В этих драматических произведениях, служащих прекрасным дополнением к шерлокианскому «канону», Холмс сталкивается с хитроумными преступниками, вместе с доктором Уотсоном переживает новые приключения, принимает на Бейкер-стрит сумасбродную поклонницу и даже... женится.

Большая часть включенных в книгу произведений впервые переведена на русский язык.

В серии «Новая шерлокиана» вышла книга:



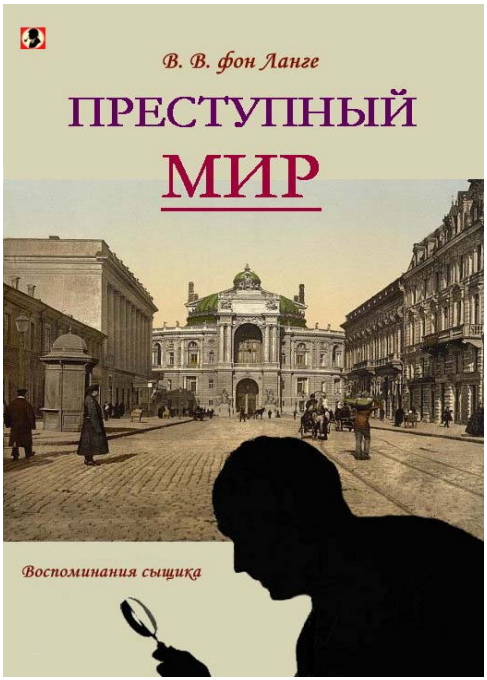
Каннибализм, похищение иностранцев ради выкупа, сексуальный шантаж – все это преступления, которые расследует «король русских сыщиков» Карл Фрейберг.
Книга «Приключения Карла Фрейберга» была впервые издана в 1908 г. Ее автор, плодовитый писатель и журналист П. Орловец (П. П. Дудоров), выступил также создателем ряда произведений, посвященных российским похождениям знаменитых детективов Шерлока Холмса и Ната Пинкертона.

В серии «Новая шерлокиана» вышла книга:

Отмычки и револьверы, парики и внушительные кулаки, нюх и упорство гончей и интуиция настоящего сыщика: по следу преступников идут знаменитый американский детектив Джон Вильсон и его неустрашимый брат Фред.

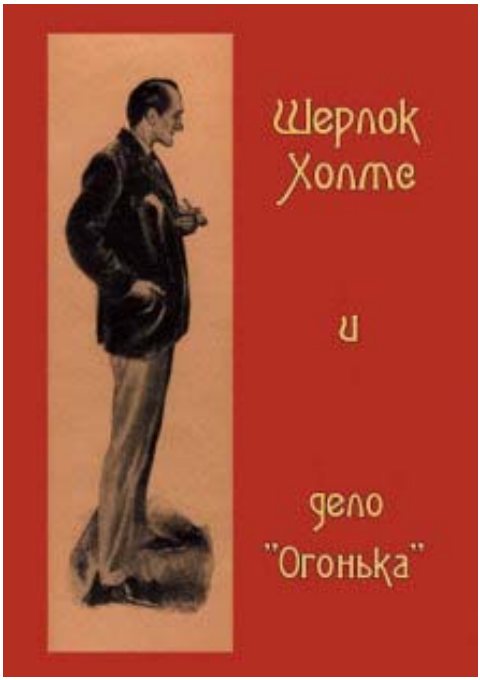
Некоторые приключения Джона Вильсона основаны на нашумевших расследованиях, вошедших в анналы криминалистики, а его прототипом стал Джон Вильсон Мюррей, самый известный канадский детектив конца XIX-начала XX века.

В серии «Новая шерлокиана» вышла книга:



Перед читателем – первое за 100 с лишним лет отдельное издание записок выдающегося российского сыщика В. В. фон Ланге (1863-1918), много лет проработавшего помощником начальника сыскного отделения Одессы и начальником Харьковской сыскной полиции.
Увлекательные рассказы о расследовании преступлений сочетаются в этой книге с характеристиками различных категорий преступников, раскрытием криминальных схем карманников, грабителей, убийц, мошенников, фальшивомонетчиков. Таковы воспоминания талантливого следователя и мастера агентурной работы, который по праву должен занять свое место в ряду виднейших сыщиков Российской империи – И. Д. Путилина, А. Ф. Кошко и других.

В серии «Новая шерлокиана» вышла книга:



Загадочное дело, развернувшееся в 1908 г. на страницах журнала «Огонек» – один из самых замечательных, оригинальных и дерзких эпизодов российской карьеры Шерлока Холмса.
«Дело» открывается тремя анонимными рассказами: в них Холмс расследует преступления в Москве, Одессе и Баку на фоне кровавых событий «первой русской революции» 1905 г., которые автор изображает мастерскими штрихами.
История продолжается великолепной мистификацией – сам оживший сыщик, настоящий Шерлок Холмс, приезжает из Лондона в Петербург, чтобы найти и покарать таинственного автора.